

Заключение

ИЗВНЕ И ИЗНУТРИ¹

Завершение текста статьи и тем более книги — всегда мучительный момент. Вроде бы все, что хотелось сказать, уже сказано — материал введен в оборот, более или менее подробный анализ его сделан, необходимые ссылки расставлены. Так зачем еще толочь воду в ступе? Между тем подвести черту, поставить точку, а может быть, многоточие — надо бы, иначе законы жанра остаются не до конца воплощенными, сюжет — незакругленным. Перебрав разные варианты подведения итогов, последнюю часть своей книги я решил посвятить рассказу о том, как происходило мое исследование, каков был мой личный опыт жизни в Ошобе. Именно последнюю часть, а не первую или вторую — с тем, чтобы эти мои размышления не могли повлиять на восприятие основного текста. По сути, конечно, получился самостоятельный очерк, названный заключением лишь потому, что речь в нем — не только и не столько об Ошобе.

В 1994 году была опубликована книга американского исследователя Юрия Слезкина «Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера»². Она посвящена рассмотрению попыток чиновников и ученых Российской империи и СССР реформировать образ жизни малочисленных разноязычных групп Северной Евразии. Наряду с изучением этой специфической темы Слезкин ставил перед собой амбициозную

¹ Некоторые идеи заключения изложены в моей статье: *Абашиш С.* Всмотриваясь в поле после боя // Антропология академической жизни: традиции и инновации / Г. Комарова (ред.). Москва: ИЭА РАН, 2013. С. 238—271.

² *Slezkine Y.* Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North. Ithaca: Cornell University Press, 1994 (русский перевод: *Слезкин Ю.* Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. М.: Новое литературное обозрение, 2008).

задачу — показать историю российских и советских дискуссий о человеческой природе, обществе, эволюции, культуре, то есть историю того, как представления и взгляды влияли на политику и, наоборот, политические интересы определяли научное, художественное и обыденное восприятие. В центр своего анализа автор поместил историю российской/советской этнографии, рассматривая ее как своеобразную квинтэссенцию размышлений о «другом» или «чужом», и немало страниц посвятил тем особенностям и порой драматическим изменениям, которые характеризовали эту научную дисциплину³.

В своей работе Слезкин сделал несколько общих наблюдений, полезных в том числе и для настоящего раздела, завершающего мое этнографическое и историческое изучение Ошобы. Один из выводов ученого заключается в том, что этнографический взгляд из Москвы или Санкт-Петербурга на северную окраину всегда был связан, в разных своих вариантах, с проведением культурной границы между «нами» и «ними». Причем всегда такое отличие подразумевало иерархию, то есть «народы Севера всегда были “лучше” или “хуже”, “над” или “под”, “более” или “менее”», «“чужеродность” всегда предполагала моральное суждение»⁴. Презрение сменялось восхищением, поиски недостатков — поисками достоинств, но сама граница была в центре той оптики, которая направляла этнографический взгляд.

Культурная граница и культурная иерархия, которая выстраивалась с ее помощью, — это колониальные представления, Слезкин не стесняется такого термина. Колониальные в том смысле, что российская и советская власти, безусловно, использовали их для установления собственного господства и извлечения собственной выгоды. Однако,

³ См. статьи того же автора о российской/советской этнографии, которые во многом пересекаются с содержанием «Арктических зеркал»: Слезкин Ю. Советская этнография в нокдауне: 1928—1938 // ЭО. 1993. № 2. С. 113—125; *Он же*. Н.Я. Марр и национальные корни советской генетики // Новое литературное обозрение. 1999. № 36. С. 48—82; *Он же*. Естествоиспытатели и нации: русские ученые XVIII века и проблема этнического многообразия // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет / П. Верт, П. Кабытов, А. Миллер (сост.). М.: Новое издательство, 2005. С. 120—154.

⁴ Слезкин Ю. Арктические зеркала. С. 438.

как подчеркивает автор, «колониальные представления не могут быть целиком сведены к “грубому политическому факту” колониализма». «Даже вечно популярный образ неполноценности северных народов (включая их превосходство в силу мудрой простоты) не был неизбежным следствием имперской гегемонии»⁵. Это второй вывод.

Третий вывод — о том, что вера в линейный прогресс, общий путь человечества и универсальность социальных законов вызывала постоянные ожидания (и политические проекты) стирания культурной границы и наступления полного тождества «нас» и «их». Поиск признаков такого процесса и разочарование в результатах этого поиска порождали новые версии универсальности и новые иерархии. Проблема согласования «не совместимых друг с другом романтических и рационалистических аргументов», примирения различий с равенством, изменения оптики взгляда и снятия непреодолимых противоречий остается нерешенной, и ее, вероятно, в принципе невозможно решить⁶.

Слезкин изначально не обещал какой-то новой, все объясняющей теории, но развернул оптику исследователя с объекта на самого себя, превратив ученого из невидимой фигуры в активного созидателя этого самого объекта, созидателя, подверженного различным субъективным, политическим и идеологическим пристрастиям, а вовсе не являющегося объективной и нейтральной инстанцией, в качестве которой каждый исследователь вольно или невольно стремится себя предьявить. Конечно, для самого американского историка такой разворот не был особенно сложным — в том смысле, что он смотрел на историю России и СССР с определенной дистанции, не будучи связанным ни цеховой лояльностью к российской/советской этнографии, ни личным опытом пребывания внутри нее. Чтобы сами этнографы смогли увидеть себя глазами Слезкина, им необходимо было ощущение кризиса своей науки, дающее возможность сойти с наезженной колени.

В первом номере первого постсоветского — 1992 года — выпуска журнала с новым названием «Этнографическое обозрение», прежде бывшего «Советской этнографией», директор российского Института

⁵ Там же. С. 16, 441.

⁶ Там же. С. 440, 444, 446.

этнологии и антропологии В.А. Тишков выступил со статьей «Советская этнография: преодоление кризиса»⁷. В ней было недвусмысленно заявлено о глубинном кризисе, в котором оказалась советская, точнее уже постсоветская, наука — главной ее проблемой называлась иерархическая система, не позволявшая критиковать господствующие концепции и предлагать новые подходы⁸. Также Тишков тесно увязал кризис советской этнографии с недостатками при проведении полевых исследований — сужением географии экспедиций и сокращением времени пребывания в них, незнанием местных языков, переориентацией с непосредственного наблюдения на анкетные опросы, свертыванием изучения отдельных общин в пользу народа в целом, безответственностью перед теми, кого изучают, и навязыванием роли старшего брата со стороны столичных специалистов. «Утонченная книжная компиляция никогда не заменит, — писал ученый, — добытого с помощью этнографии первичного знания, никакие метатеоретические или критико-историографические рассуждения не заменят мягко и скромно сформулированных теоретических заметок на полях собственных полевых дневников»⁹.

Из серии сочувственных или неодобренных откликов на статью Тишкова, которая задавала тон в кризисном восприятии состояния российской этнографии на все постсоветское время¹⁰, хочу выделить текст Сергея Соколовского «Этнографические исследования: идеал и действительность»¹¹. Последний, продолжая критику советской этнографии, сделал новый поворот в анализе ситуации в науке¹². Соколовский подверг тотальной деконструкции веру в то, что поле является

⁷ Тишков В.А. Советская этнография: преодоление кризиса // ЭО. 1992. № 1. С. 5—19.

⁸ Там же. С. 5.

⁹ Там же. С. 11.

¹⁰ См. в журнале «Этнографическое обозрение» за 1992—1993 годы отклики В.Н. Баилова, В.И. Козлова, Ю.И. Семенова, В.А. Шнирельмана, И.С. Кона, которые и сегодня читаются с огромным интересом. См. также схожие споры о кризисе в американской антропологии: Размышления о судьбах науки // ЭО. 1996. № 6. С. 3—18; Marcus G. The End(s) of Ethnography: Social/Cultural Anthropology's Signature Form of Producing Knowledge in Transition // Cultural Anthropology. 2008. Vol. 23. № 1. P. 1—14.

¹¹ Соколовский С.В. Этнографические исследования: идеал и действительность // ЭО. 1993. № 2. С. 3—13; № 3. С. 3—14.

¹² Соколовский С.В. Этнографические исследования. № 3. С. 13, 14.

тем местом, где рождаются этнографические факты и проходят истинную проверку теоретические схемы. Размышляя о понятии реконструкции применительно к работе этнографа, Соколовский писал: «Казалось бы, сама интенция дисциплины, именующей себя этнографией, есть чистая дескриптивность, фиксация того, что есть “там”, “вне меня”, а ее кредо — онтологическая феноменология, описание вещей “как они существуют в мире”. Отображение, “фотографирование”, констатация — вот тот модус, в котором должны были бы исполняться все техники и технологии этнографического исследования, и вдруг реконструкция, слитность “вещи” и “феномена” оказывается мнимой: язык вскрывает под тонким ледком неразличения непреодолимую пропасть, навеки отсекающую путь нашему исследователю к “обретению” желанной “вещи”, оставляя его лишь с безнадежно субъективной “интерпретацией”, своего рода “реконструкцией” чужого и чуждого “конструкта”, перцептивным “следом” несбывшегося обладания»¹³. Иначе говоря, провозглашаемая и лелеемая в науке объективность, которую будто бы находят в поле, является, по его мнению, всего лишь стилистическим эффектом, ссылка же на то, что «я там был», служит средством легитимации и утверждения личного или дисциплинарного статуса. Не существует неискаженного восприятия и понимания, разные способы улучшения методики (например, более длительное проживание в поле) решают одни проблемы и создают новые.

Так что же лежит в основании этнографического знания? Профессионализм, который измеряется языковыми навыками, длительным проживанием в изучаемом сообществе, умелым применением разнообразных методик, использованием правильных ссылок на труды предшественников? Или еще умение ученого изложить свою историю в виде академического текста, убедить коллег и аудиторию читателей/слушателей в том,

¹³ Соколовский С.В. Этнографические исследования. № 2. С. 3, 4. Впрочем, Соколовский не согласен и с теми, кто видит в этнографическом исследовании исключительно проекцию культуры исследователя на культуру исследуемого, а само исследование считает версией культурного империализма. Взаимопонимание возможно, потому что люди постоянно взаимодействуют друг с другом и создают для этого, по выражению автора, «сейчас-культуры», в которых происходит обмен смыслами — Там же. С. 12.

что его личный опыт несет в себе важные наблюдения и выводы?¹⁴ Может быть, особенности характера исследователя как личности, его пол, возраст, индивидуальные способности? Связь со структурами власти и с колониальным, европоцентристским и универсалистским взглядом на мир, унаследованным из тех времен, когда этнография была едва ли не прямым проводником имперских интересов?¹⁵ Характеристики (общие и национальные) академического пространства, к которому исследователь принадлежит, и то место, которое он в этом пространстве занимает?¹⁶

В завершающей части своей книги, разворачивая, вслед за Слезкиным, Тишковым и Соколовским, взгляд с Ошобы на себя в Ошобе, я намереваюсь, во-первых, обрисовать ряд дополнительных черт ошобинского сообщества, которые можно увидеть исключительно благодаря личному этнографическому опыту. Во-вторых, попытаюсь обратить внимание читателей на те обстоятельства и ограничения, которые сопровождали мое полевое исследование и могли существенно повлиять на мои представления об ошобинцах. В-третьих, я собираюсь очертить определенные сферы и вопросы, оставшиеся за рамками настоящего исследования, что позволит, как я надеюсь, уйти от завершенного и застывшего образа Ошобы, возможно, проступающего сквозь текст предыдущих очерков.

Начало

Прежде чем обратиться к собственным воспоминаниям о пребывании в Ошобе в 1995 году, хочу привести один документ 1890 года, который содержит историю краткого путешествия российского колониального служащего в интересующий меня кишлак. Этот документ

¹⁴ *Гирц К.* «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории культуры» / К. Гирц. Интерпретация культур. М.: РОССПЭН, 2004. С. 9—42. См. также: *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography* / J. Clifford, G.E. Marcus (eds.) University of California Press, 1986.

¹⁵ *Asad T.* Introduction // *Anthropology and The Colonial Encounter* / T. Asad (ed.). NY: Humanity Books, 1998. P. 9—19 (1-е изд. — 1973).

¹⁶ *Bourdieu P.* Participant Objectivation // *Journal of the Royal Anthropological Institute*. 2003. Vol. 9. № 2. P. 281—294.

уникален только потому, что он — единственный сохранившийся (или единственный обнаруженный мной) текст, в котором неошобинец описывает свой опыт общения с местными жителями. Таких «пришельцев», попадавших в кишлак, за последние полтора столетия были тысячи — кто-то приезжал по делу, а кто-то просто случайно, кто-то оставался на день-два, а кто-то жил здесь годами. Но, к сожалению, мне не повстречались письменные воспоминания об этом, кроме свидетельства одного человека — Герасима Павлова, который в рапорте (жалобе!) на имя колониального начальства рассказал (пожаловался!) на прием, оказанный ему в Ошобе во время выполнения им служебных обязанностей.

Случай с Павловым покажет более наглядно (и не без оттенка анекдотичности), что история Ошобы — это не только история вмешательства в ее жизнь государства и ответной реакции местного населения, но также история сложных изменений, происходивших в результате таких воздействий, а еще это история наблюдения за кишлаком, история разнообразных опытов взаимодействия неошобинцев с Ошобой. Мое исследование — лишь один из подобных опытов, в чем-то, наверное, отличающийся от остальных, а в чем-то похожий, повторяющий и воспроизводящий уже однажды открытые/созданные дискурсивные тропы путешествия в неизведанный мир¹⁷.

Вот отрывки из архивного дела (многие особенности орфографии я оставляю в оригинальном виде, чтобы читатель мог оценить колорит текста)¹⁸:

Рапорт объездчика Павлова

господину чувстскому участковому приставу.

При сем имею честь донести Вашему Высокоблагородию, во время объезда мною по участку в местности Ашават-сая Ашинской [Аштской] волости 1889 г. сентября 8-го дня встречены мною сарты с дровами

¹⁷ См.: *Clifford J. Spatial Practices: Fieldwork, Travel, and the Disciplining of Anthropology // Anthropological Locations. Boundaries and Grounds of a Field Science / A. Gupta, J. Ferguson (eds.). University of California Press. 1997. P. 199.*

¹⁸ По заявлению лесного объездчика Герасима Павлова о противодействии Ашават-сая старшины Аштской волости Наманганского уезда Магомед Газы Таирбаева при задержании вывезенного из казенных дач леса и хвороста // ЦГА РУз, ф. 19, оп. 1, д. 663. Л. 1—24.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

и лесом; дрова 6-го сентября — 4 лошака, 8 пучков, пятый лошак с лесом арчевых [арча — древовидный можжевельник] пород, о которых я составил [протокол?] в присутствии понятых и старшины. 8-го же сентября по саю Кызыл-Булак [горная местность в сторону Гудаса] Ашава-сая в верховье встречено мною сарт, который срубил четырнадцать деревьев сырых арчевых пород, и сложенные в аули сего сарта. Я вернулся в кишлак для вызова понятых и старшину для составления протокола. Я приехал в кишлак 7-го числа вечером, сказал старшине, чтобы приготовить понятых завтра утром рано. Я утром спрашиваю, понятые готовы, старшина говорит, что сейчас пойду и найду понятых, и он ушел. Сколько я ждал, все напрасно. Когда я сам пошел и нашел его, он сидел в компании и что-то пили. Я стал говорить, что скоро найдешь понятых, он отвечает скоро. Вызвал уже перед вечером на сай Кызыл-Булак, доехали до верховья сая, где нарублен лес сырых деревьев арчевых пород, которые поверили с понятыми и составили протокол. Получилось ночь темная, дороги нет, ехать было нельзя, остались ночевать. Вечером старшина и понятые збивали [подбивали] меня, чтоб не доносить о лесе ничего. Я ниспал во всю ночь, так как оружие у меня нет, заготовил камней для без опасности и лежал всю ночь, не спал нисколько, да и страшно было спать, когда я слышал заговор, что если он напишет рапорт, мы его кончим и закладем в камни. Старшина и понятые, которые при составлении протокола, утром я встал, стал седлать лошадь, они все подходят, берут у меня из рук лошадь. Все они озлились, морды ихние зделались дикыми, они хотели меня схватить, ну [здесь и далее — но] не удачно, я убежал пешком до самого близи Камуш кургана [селение Камыш-курган], называется местность Булак [сегодня селение Булак], где имеется на дороге краул, краульщик Сайдали Туйчибаев. Дорога Коканда на Шайдан гнались за мной. Старшина бежал сам в кишлак Ашава, кричал держать меня, ну я с камнями в руках пробежал от места составления протокола, бежал пешком до самого Булака. Лошадь злодеи удержали, куржун [кожаный мешок] мой тоже, в куржуне журнал, приказы на дрова, который выданный для записи объезда, и составленные 2 протоколы по саю Ашава. Покорнейше прошу распоряжение Ваше Высокоблагородия. Я пришел к местности Булак, теперь на ноги встать не могу и лошади нет. Когда я убежал от злодеев по саю, попадались

люди, которые видели, что я шел пешком от злодеев, видели Досмат Одинаматов и сын его Усмат Досматов, Хусан Сарымсаков, Ирмат Ходжибай, Размат Мирзабай, Тохта Назар Бадаров, Адильмат Уста-Ит, Алимат Уста-Сантов, Мулла Худай-Бирды Мирза-Яров.

Объездчик Павлов 10-го сентября 1889 года послал сей рапорт Абдумумином [из] кишлака Ашава и рапорт волостному управителю Ашинской волости о высылке моей лошади, он же [Абдумумин] доехал до кишлака Ашава и воротился обратно и привозят обое рапорты. Ко мне приезжают и привозят лошадь старшина кишлака Ашава Мухамед-Гази Тагиров¹⁹, пятидесятник, который был при составлении протокола, Хал-Мирза Бабаназаров, Имам²⁰ и Абдумуминов, еще какой-то старик, все кишлака Ашава, подают мне горсть серебра и говорят помириться и не писать весь лес, написать только четыре дерева и дают серебра, говорят тринадцать рублей, ну я не взял деньги, потому что не желаю продавать казенный лес. При том был караульщик Сайдали Туйчибаев.

Объездчик Бабадарханской и Ашинской волостей Павлов.

Протокол.

1889 года сентября 17-го дня ко мне, чутскому участковому приставу, капитану [неразборчиво] явился местный объездчик Бабадарханской и Аштской волостей Герасим Павлов, который заявил, что 6-го сего сентября во время объезда по Ашабе-саю им задержаны ашабинские жители [неразборчиво], Мухаммед-Карим Надиров и Игам-Берды Мир-Шарипов, которые везли на четырех ешаках восемь снопов хвороста и на одном — две арчевых лесины, каковой лес был ими самовольно срублен. Захваченных порубщиков вместе с дровами объездчик препроводил в селение Ашабу к местному старшине, где о поимке им был составлен протокол и в удостоверении коего он просил старшину приложить печать, но старшина Мухамед Газы Таирбаев печати к протоколу не приложил и вместо того стал уговаривать объездчика, чтобы о порубке протокол не составил и не доносил, за что предлагал дать ему взятку 2 рубля. Заявитель на таковое предложение старшине не согласился и поехал про-

¹⁹ Речь о Гозыбае Таирбаеве (см. Очерк 3).

²⁰ Речь, видимо, об Имамбае Муллабаеве (см. Очерк 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

должать объезда, при чем 8-го сентября около аула ашабинского жителя Азиза Аширматова заметил срубленных сырых четырнадцать арчевых бревен, почему возвратился в кишлак к названному выше старшине и стал требовать, чтобы он с понятыми поехал на место для составления акта. Старшина все оттягивал [с] выездом и только выехал с понятыми и заявителем, так что на место прибыли к вечеру. Проверив лес и составив протокол, Павлов заставил понятых приложить тамги [особый знак, которым каждый житель кишлака маркировал свой скот и имущество] на протокол, а старшине предлагал приложить печать, но старшина опять приложить печать не соглашался, а стал уговаривать Павлова не представлять протокола и предлагал ему во взятку десять рублей. Когда же Павлов на предложение старшины не согласился, то он и бывшие с ним понятые: Нур-Мухаммед Ир-Назаров, Усанбай Сарымсаков, Исматкул Пир-Ниязов и пятидесятник Халмирза Бабаназаров сильно разозлились и стали говорить между собою «если он не согласится оставить это дело, то можно его убить и заложить камнями». Кто именно это сказал, заявитель не знает, так как он в это время был в [неразборчиво] и старшина с понятыми разговаривал около [неразборчиво] на дворе. После этих слов заявитель всю ночь не спал и был настороже. Утром опять ему стали предлагать деньги не докладывать, когда же он опять не согласился и хотел поехать, то все они [неразборчиво] подошли к нему и один из названных понятых, по имени коего не знает, но в лицо указать может, отнял у него лошадь. Тогда Павлов, схватив несколько камней для самозащиты, бросился бежать по направлению к кишлаку. Не доходя кишлака, он сел отдохнуть, и вслед за ним подъехал старшина с понятыми и отдали лошадь, но, проехав немного, опять остановились, предложив сойти с лошади и съесть персиков. Когда же заявитель взял персик, то они все опять начали его ругать и подходить к нему, тогда он вторично бросился бежать, при чем пятидесятник Хал-Мирза бросился его догонять, но догнать не мог. Когда бежал заявитель по дороге встретил ашабинских жителей: Достмагомед Адинаматова, сына его Усмата, Хусана Сарымсакова, Ирмата Хаджибаева, Рузмата Мирзабаева, Тахта Назара Бадарова, которым и говорил о причине побега. Пройдя через Ашабу, заявитель достиг пешком до местности Булака, Бабадарханской волости, где живет дорожный караульщик Сеид-Али Тайчибаев, у кото-

рого и [неразборчиво]. На другой день было послано им с ашабинским жителем Абдумумином донесение чувстскому участковому приставу и Аштскому волостному Управителю, но старшина Мухамед Газы перехватил эти донесения и вместе с ними приехал в Булак, куда привез и лошадь заявителя. Со старшиной приехали еще: пятидесятник Халмирза Бабаназаров, Абдумумин, возивший донесения, Имам и еще какой-то старик. Старшина приехав отдал лошадь и посланные донесения и стал просить, чтобы оставить дело, при чем предлагал заявителю горсть серебряных монет, говоря, что там 13 рублей, но заявитель на это не согласился и денег не принял. При этом, как предлагал старшина денег, был названный караульщик Сеид-Али Тайчибаев, который слышал весь разговор <...>

1889 года сентября 21-го дня спрошенный ашабинский сельский старшина, Магомед Газы Таирбаев показал: дней 10 тому назад ко мне в кишлак приехал лесной объездчик Павлов и сказал, что на местности Кызыл-Булак произведена порубка, почему потребовал, чтобы я с понятыми поехал с ним для осмотра порубки. На другой день я позвал своего кандидата Нур-Мухаммеда Ир-Назарова и пятидесятника Халназара [Халмирзу?] Бабаназарова и вместе с Павловым поехали на место порубки, которое отстает от кишлака в трех ташах [*тош* — буквально «камень»; мера длины, около 8,5 км] горной дороги. Туда приехали поздно вечером, потому расположились ночевать и только на другой день осмотрели место. Порубленного леса оказалось четырнадцать арчевых бревен. Когда приехали вечером, мы все были вместе и вместе ужинали, а когда легли спать, то объездчик со мною спал в одной [неразборчиво], а кандидат и пятидесятник спали недалеко. Никакой ссоры или ругани у нас тогда не было и все мы разговаривали и шутили между собою совершенно мирно. Когда же объездчик написал акт о порубке, то стал требовать, чтобы я ему доставил [неразборчиво] Азиса Ашур-Мухамедова, но так как такового дома не было и он куда-то скрылся, то я доставить его не мог, что рассердило объездчика. Потом он потребовал, чтобы я приложил на акт печать, на что я ответил, что печать осталась дома и я приложу, приехав в кишлак, на что он рассердился вторично, но все-таки между нами ссоры или ругани не было. Потом мы все отправились в кишлак и объездчик снова поехал с нами. Доехав

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

до местности [неразборчиво]-булак, мы остановились, и живущий там родственник мой, Адина Мухаммед Каршибаев, пригласил нас закусить, куда я позвал и объездчика, он почему-то отказался есть и пошел пешком по направлению в Ашабу. Мы его нагнали, подвели лошадь и предложили сесть и опять поехали вместе. Доехав до местности Даксар, мы остановились, чтобы съесть несколько персиков, которые нам предложил Бай Турсункулов, и объездчик тогда остановился и съел несколько персиков, но потом чего-то рассердился, оставил лошадь и убежал пешком в Ашабу, причем в кишлаке не остановился, а прошел в Булак Бабадарханской волости. Мы останавливали его, уговаривали взять лошадь, но он взять ее не соглашался и лошадь осталась у нас. На другой день приехал ашабинский житель Мумин Имамбаев, который вез какие-то бумаги, написанные по-русски, и записку на туземном наречии к аштскому волостному управителю, в которой объездчик просил прислать ему лошадь. Прочитав эту записку, я решил лошадь отвести самому, так как на лошади были куржумы, в которых находились какие-то бумаги. Поэтому я взял с собою еще свидетелей: бывшего с нами пятидесятника Халмирзу и ашабинских жителей: Мухамед Мурада Ша-Мурадова²¹, Имама Муллабаева и его сына Мумина, привезшего записку, и поехали в Булак к объездчику. Павлов находился там у караульщика Сеид-Алия, который был свидетелем, как я передал Павлову лошадь, куржумы и бумаги. Когда же я спросил его, зачем он бросил лошадь и ушел, то он сказал, что это сделал, рассердившись за то, что ему не доставили Азиса Ашур-Мухамедова, нарубившего лес. Я же со своей стороны поступок Павлова ничем объяснить не могу и не знаю, что послужило поводом к тому, что он от нас убежал и на нас пожаловался. Денег во взятку Павлову ни я, ни кто из понятых, бывших со мною, не предлагал и не давал, а также не хотели мы вовсе скрыть порубку леса. Если это заявляет Павлов, то это все неверно и им выдуманное. Кроме меня на месте порубки были названные понятые, а также ашабинские жители Усанбай Сарымсаков и Исматкул Мулла Пир-Ниязов, которые тоже могут подтвердить мои показания. В показании записано неверно относительно осмотра леса, мы осматривали порубку и лес не на

²¹ См. Очерк 2.

другой день, а в тот же вечером, как и приехали в Кызыл-Булак. Что же касается, что я не приложил печати к акту объездчика о задержании им хвороста и леса на пяти ишаках, то опять же в то время печати при мне не было, а таковая находилась у состоящего временно при мне мирзою ашабинского жителя Муллы Сафара Муллы Абдужаппара. Хворост же и лес находится у меня на хранении <...>

1889 года сентября 21-го дня спрошенный кандидат старшины Мирза-Мухамед [Нур-Мухамед?] Ир-Назаров показал <...> Я ехал с объездчиком и старшиною почти до самого кишлака Ашабы и остался при въезде в кишлак на мельнице Ниязбатыра, а объездчик со старшиною отправились дальше в кишлак. Пятидесятник Халмирза остался в Даксаре, а Усанбай и Исматкул, которые были на Кызыл-Булаке, там же и остались. Если вышла какая ссора у старшины с объездчиком, то разве в то время, когда они остались вдвоем, при мне же никакой ссоры у них не было <...>

1889 года сентября 22-го спрошенный Ашабинский пятидесятник Халназар [сверху подписано — Мирза] Бабаназаров показал <...> и по осмотре леса в тот же вечер я вернулся на местность Даксар, где и ночевал. При мне на Кызыл-Булаке с объездчиком никакой ссоры не было <...> Старшина, кандидат и объездчик на другой день застали меня в Даксаре. Там они остановились и ели персики, при этом никакой ссоры у них не было. Потом все они собрались и пошли пешком, ведя лошадей за собою, лошадь же объездчика повел кандидат старшины. Я же остался в Даксаре и отправился после них <...>

1889 года сентября 27-го спрошенный Имам Муллабаев показал: я живу на местности Япуклы [Епугли] недалеко от местности Булак Бабадарханской волости. Дней 16 тому назад старшина Магомед-Газы прислал ко мне Мухамед-Мурада, который сказал, что объездчик Павлов поссорился со старшиною и ушел из Ашабы пешком, оставив там свою лошадь, почему старшина послал узнать, где именно находится Павлов, чтобы отдать ему лошадь. Зная, что объездчик часто останавливается у дорожного караульщика Сеида-Али в Булаке, я послал туда своего сына, Мумина, чтобы узнать там ли объездчик? Спустя несколько времени приехал Мумин и привез какие-то бумаги, при чем сказал, что Павлов в Булаке, и дал бумаги для передачи старшине. Я приказал сыну бумаги

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

тотчас же отвезти к старшине, и он поехал, а Мухамед-Мурад остался отдохнуть у меня <...>

1889 года сентября 27-го спрошенные ашабинские жители: Усан Сарымсаков, Усман Дост-Мухамедов, Ир-Мухамед Ходжибаев, Рузы-Мухамед Мирзабаев, Тахта Назар Бабаев, Мулла Худай-Берды Мирзаяров, Дил-Мухамед Хайтов и Али-Мухамед Уста-Сеидов, всенародно показали совершенно одинаково, что видели действительно идущего пешком лесного объездчика Павлова, который подходил к ним, спрашивал их имена и записывал, но больше ничего им не рассказывал, и почему он шел пешком, им неизвестно <...>

1889 года сентября 28-го дня Камыш-Курган. житель Сеид-Али Тайчиев показал <...> Когда я приехал, то заметил, что Павлов что-то прихрамывает, и когда спросил его причины, отчего он хромает, то он сказал, что ездил в Ашабу, где нашел порубку, и когда пригласил старшину, то последний, прибыв со своим кандидатом и еще с кем-то, наносил ему много оскорблений и до того напугали его, что он вынужден был бросить лошадь и уйти домой пешком, вследствие чего натер себе ноги и хромает <...> Потом Павлов обратился к Иمامу и другим рядом сидевшим и спросил, зачем они приехали, на что Имам ответил, что они приехали помирить его со старшиною и привезли денег. Тогда старшина вынул из-за пояски платок, из которого высыпал горсть серебра в сартовских коканах [чеканенная в Кокандском ханстве мелкая монета стоимостью 20 копеек и разрешенная к обращению в Туркестане до 1895 года], и сказал, что там 13 рублей, положил их перед Павловым. Павлов сейчас же встал, отошел в сторону и подозвал меня. Когда я подошел, то он просил сказать, чтобы они деньги спрятали, что он денег не возьмет <...>

9-го октября 1890 года <...> Приказали: Из обстоятельств настоящего дела видно, что заявление объездчика Герасима Павлова <...> ничем на дознании не подтвердилось и что к обвинению старшины может служить единственное показание свидетеля караульщика Сеид-Алиева <...> Принимая во внимание, что лиходательство <...> наказуемо лишь тогда, когда лиходатель склонил должностное лицо к совершению этого действия <...> и что одно предложение взятки не наказуемо <...>, Общее присутствие Ферганского областного правления определило <...> освободить старшину Таирбаева от всякой ответственности.

Это дело — казалось бы, рядовой конфликт между колониальной властью и местным населением, точнее, между двумя традициями собственности — государственной в том виде, как ее формулировали российские чиновники, и локальной как она сложилась в обычаях местного населения²². На этот конфликт правовых традиций наложилось еще и противостояние *своих* и *чужих*. Лесник Павлов наивно и потому весьма красочно описывает поведение местных жителей как странное, скрытное и изначально враждебное. Выражение «дикие морды», которое он употребляет, ясно указывает на популярное среди российских чиновников представление, что сарты — отсталый народ, не умеющий жить по цивилизованным законам²³. Чуждость, следовательно, была связана с культурной иерархией, чувством превосходства и доминирующим социальным положением. Правда, позицию Павлова в изложенном документе нельзя назвать абсолютно доминирующей — в его словах слышится не столько уверенность в своей силе, сколько страх перед местными жителями. «Дикие морды», которые, как ему казалось, его окружали, были ниже по формальному статусу и одновременно представляли опасность — запуганный лесник пытался использовать свою власть и, столкнувшись с неподчинением, вынужден был бежать и апеллировать к силе наказания. Любопытно при этом, что и решение вышестоящих чиновников оказалось не в его пользу, а значит, существовал сложный баланс отношений власти, в которых голос колонизируемых (пусть даже, возможно, благодаря взяткам) был слышим и учитывался при вынесении разного рода вердиктов.

Самое интересное в процитированном документе — несоответствие двух взглядов на одну и ту же историю. Если Павлов сообщал о попытке убить его, о том, как его преследовали, как пытались подкупить, то со слов ошобинцев, Павлову оказывалось все необходимое внимание, указания его в целом выполнялись, правда, тот в ответ вел себя странно, капризничал и требовал невыполнимого. Конечно, лесник — например, поссорившись с местным аксакалом и не встретив с его стороны должного почтения — мог сознательно преувеличить угрозу своей жизни,

²² См. Очерк 3.

²³ Ср.: *Слезкин Ю.* Арктические зеркала. С. 78.

чтобы вызвать у чиновников в отношении ошобинцев те же смешанные чувства собственного превосходства и страха и добиться таким образом своей цели — наказания обидчиков. Конечно, и ошобинцы могли стовориться и солидарно сделать вид, что ничего не было, а проблема только в фантазиях Павлова. Иными словами, наличие двух разных версий в расследовании могло быть (и, скорее всего, было) результатом вполне сознательной обоюдной тактики замалчивания и реинтерпретации.

Впрочем, я не исключаю и какого-то элемента взаимного культурного недопонимания, то есть столкновения двух разных способов осуществления власти. Приведу, может быть, посторонний, но знакомый многим пример: человек, привыкший к ценникам в магазинах, оказывается в стрессовой ситуации, попадая на так называемый восточный базар, где продавец заранее не выставляет окончательную стоимость товара, поскольку она выяснится путем соревнования продавца и покупателя в умении торговаться, — такой способ покупки у многих вызывает подозрение в жульничестве продавца и даже его враждебности по отношению к простодушному покупателю. «Эй, — однажды кричал мне вслед самаркандский торговец, — ты куда убегаешь? Давай поторгуйся, и я снижу цену!»

Нечто подобное могло иметь место в 1889 году в Ошобе. Неспешность в выполнении требований, на которую жаловался Павлов, могла быть обычным ритуалом приема гостя, которого обязательно надо было угостить и обеспечить возможностью отдохнуть. То, что лесник считал подкупом, местными жителями, еще недавно находившимися под властью кокандской администрации, воспринималось как положенная чиновнику доля для обеспечения мирного решения вопроса. Некие тайные переговоры, которые вызвали у Павлова подозрение, возможно, были обсуждением того, каков ранг объездчика и какая доля ему должна полагаться. Попытки догнать убегающего лесника предпринимались вовсе не из желания причинить ему вред, а только с целью достойно проводить гостя и понять, чего он хочет на самом деле. Не исключено, что те следователи, которые разбирали эту конфликтную ситуацию, увидели — речь идет всего лишь о непонимании сторонами действий друг друга, поэтому вынесли решение в пользу обвиняемых.

Если это мое предположение верно, то выходит, что характеристики ошобинцев, данные Павловым, основывались на искаженной оценке

ситуации, в которой произошел конфликт. Лесник плохо разобрался в мотивациях и поведенческой тактике местных жителей и нарисовал, следуя своим предубеждениям, неверную картину происходящего. Парадокс в том, что его привилегированная, при всех оговорках, позиция колониального служащего делала представленные им характеристики намного более доступными для внимания вышестоящих чиновников (а потенциально и любых русскоязычных читателей), а значит, и более значимыми для формирования образа Ошобы. Даже тот факт, что спустя 120 лет я публикую сохранившийся рапорт Павлова и не имею возможности воспроизвести в полном и аутентичном виде интерпретацию тех событий жителями кишлака, говорит о такой диспропорции, которая становится, следовательно, отличительной чертой нашего знания об этом селении.

Случившееся с Павловым очень похоже на то, что происходило со мной в 1995 году. Как и лесник сто лет тому назад, я прибыл в Ошобу — уже в качестве ученого-этнографа — и пытался чего-то добиться от местных жителей, понять их, осмыслить, где я оказался и о чем, собственно, хочу узнать. Как и Павлов, я испытывал беспокойство и страх оттого, что за мной наблюдают, за моей спиной обо мне что-то говорят и при этом я сам не могу оценить, до какой степени понимаю окружающих людей и их жизнь. Когда я вернулся из кишлака и пытался уже на определенной дистанции осмыслить и изложить в виде научного текста то, что увидел и услышал, к усилившимся сомнениям и недовольству собой добавилось ощущение, будто я вторгаюсь в чужие судьбы, переделываю сложную реальность под какие-то свои личные задачи и предпочтения, а моя субъективная и по-своему ограниченная точка зрения может превратиться в окончательный приговор людям и сообществу в целом.

Вхождение в поле

Как выбрать кишлак?

Мой выбор Ошобы был случайным. Я не искал для своего исследования локальное сообщество с какими-то определенными социальными и демографическими характеристиками, и у меня не было готовых представлений о «среднем» или «типичном» кишлаке. Я уже

проводил исследования в 1988—1991 годах в Ферганской долине, жил по несколько месяцев в других селениях, поэтому не имел иллюзий по поводу типичности. Каждое такое место, каждая община, каждый человек уникальны, и интересно понять и изучить эту уникальность, а не умозрительную усредненность.

Первоначально у меня было только три самых общих, практического свойства критерия. Первый — это должна была быть Ферганская долина, и кишлак должен был быть узбекским, так как к тому времени я немного изучил узбекский язык и совсем не знал таджикского и киргизского. Второй критерий — кишлак должен был быть по возможности не очень большим, чтобы я мог познакомиться со всеми его жителями и проследить максимально полно все цепочки связей между ними. Третий — мне нужна была поддержка каких-то местных жителей, которые помогли бы мне устроиться в кишлаке, договориться с местной властью и найти жилье. В результате же выбор все равно лишь отчасти совпал с моими пожеланиями.

Хотя до того я работал главным образом в Узбекистане, мне показалось, что подходящий кишлак можно найти в таджикостанской части Ферганской долины, и я обратился за помощью к своему старшему коллеге (к сожалению, теперь уже покойному) — Валентину Ивановичу Бушкову, который многие годы работал в Ленинабадской области Таджикистана. Мы вместе полетели в Ходжент (бывший Ленинабад) и встретились там с таджикским этнографом Мухиддином Файзуллаевым, которого Бушков давно знал и с которым я тоже был знаком. По совету Файзуллаева было решено обратиться за помощью к Фарруху Шарипову, старому приятелю моих коллег. Он был родом из Шайдана, центра Аштского района, и работал начальником одного из отделений ходжентской милиции, что было для нас совсем не лишним. Так выбор сузился до одного района.

Дальше все зависело от личных связей Шарипова, а такие связи были у него с Ошобой. Дело в том, что, несмотря на свою таджикость, о которой, поругивая узбеков, он говорил при каждом удобном случае, Фаррух Шарипов имел тесные родственные связи с узбеками. Его бабушка (мама матери) и жена были ошобинками: бабушка являлась сестрой Бободжан-раиса Юлдашева²⁴, чье имя, правда, в тот момент

²⁴ См. Очерки 4 и 5.

мне ничего не говорило. Бушков, Файзуллаев и я отправились вместе с Шариповым в Ошобу, заехали к его родственникам, познакомились с Бободжан-раисом — к тому времени уже дряхлым стариком, бодрость которого поддерживалась, кажется, только легкими наркотиками. Затем мы поехали в Оппон, где я кратко рассказал председателю колхоза о своих планах, после чего он кому-то позвонил и дал указание разместить нас при ошобинской больнице, в небольшой комнатке для приезжих.

Скоро мои коллеги и я переехали в Ошобу. Кишлак оказался огромным — около 700 семей, не считая жителей остальных селений джамоата/сельсовета. Это меня очень расстроило: если на каждую семью тратить хотя бы день (чтобы пообщаться, записать услышанное и увиденное), то для знакомства со всеми понадобится два полных года! Я понимал, что за несколько месяцев каких-то прочных отношений с местными жителями в такой ситуации у меня не сложится — не будет возможности вести длительные и доверительные разговоры с одними и теми же людьми, наблюдать за их жизнью, уточнять и перепроверять данные, и я буду вынужден, пытаясь охватить более широкий круг информаторов, проводить непродолжительные опросы, хотя подбор моих собеседников все равно останется ограниченным. Следовательно, одно из моих предварительных условий оказалось невыполненным.

Однако менять что-либо было сложно — время шло, и я не мог продолжать тратить дни и недели на поиски новых вариантов, скорее всего, столь же непредсказуемых. К тому же оказались задействованными многие личные договоренности, которые неудобно было нарушать. Таким образом, стремление найти поддержку среди местных жителей — третий критерий отбора кишлака для изучения — обернулось тем, что я сразу попал в зависимость от этой поддержки и уже не я сам, а за меня делали выбор.

Как закрепиться в кишлаке?

Остаться в Ошобе было полбеды. Но я никак не мог себе позволить жить несколько месяцев в комнатке при больнице (Илл. 62)! Там мне пришлось бы все время находиться у всех на виду, без какой бы то ни было возможности уединения. В комнатке не было кухни, что ставило



Илл. 62. Дом при больнице, в котором я жил в 1995 г.

передо мной проблему питания: обе существовавшие в кишлаке чайханы в 1995 году не функционировали, в больничной же столовой кормили очень однообразно и более чем скудно. Ну и, наконец, в мои исследовательские планы изначально входило наблюдение за повседневной жизнью какой-нибудь местной семьи — лишить себя такого поля я не мог, зная, что только проживание в чьем-либо доме даст шанс проникнуть в кишлачные секреты.

Со своими спутниками, помогавшими мне в самом начале, я отправился к руководству сельского совета и попросил найти семью, которая согласилась бы принять меня в качестве жильца — конечно, за какую-то плату. Над моей просьбой задумались и обещали помочь. Вскоре меня представили К., бывшему учителю, а к тому времени пенсионеру. Мы отправились к нему домой. Дом находился в удобном месте, в самом центре Ошобы. К. жил с женой, их младший, но, конечно, уже взрослый — успевший жениться — сын умер (потом я узнал, что он повесился), невестка уехала, поэтому в доме была свободная комната,

которую мне и предложили. Поселиться в семье К. было удачей, что почти примирило меня с Ошобой.

После того как бытовые вопросы были решены, мы вернулись в Шайдан, потом поехали в Канибадам, где я неделю работал в архиве, снова заглянули в Шайдан и Ошобу, а затем уехали в Ходжент. Оттуда Бушков улетел в Москву, я же, уже в одиночку, напрямик отправился в долгожданное поле, в дом К. Неделю я знакомился с кишлаком, постепенно расширяя свои знакомства, много общался с приютившим меня хозяином, который поделился массой интересной информации, положившей начало моим дальнейшим разысканиям. И вдруг по прошествии этой недели (далее цитирую свой дневник):

Встал утром. Все, вроде, как обычно. Пил чай. Кушал лепешки. К. отправился что-то делать. Прохожу как-то мимо него, а он вдруг говорит: «Сергей, ищите себе другое место сегодня». Как гром среди ясного неба. «Почему? У вас есть какие-то проблемы с продуктами?» — «Нет, — отвечает, — продукты как-нибудь найдем. Туда-сюда ездить надо». Куда ездить — ничего не понял. Побежал на улицу, встретил секретаря сельсовета, а он говорит, что К. собрался по делам уехать из Ошобы и что он (секретарь) уже говорил, чтобы мне место определили опять в больнице. Оказывается, К. уже заранее решил от меня избавиться и заранее предупредил об этом сельсовет! А ведь только неделю назад обещал: сходим туда, сходим сюда, поедем с председателем колхоза по полям. Прошла лишь неделя, и все опять надо начинать заново.

Это был настоящий шок. Почему К. вдруг решил нарушить договоренность, точно сказать не могу. Его объяснение, что он хочет куда-то уехать по делам, в принципе выглядело правдоподобным. В Ошобе люди жили, не выстраивая долгосрочных планов: если условия и возможности изменялись, многие были готовы тут же на это отреагировать — собраться и уехать, бросить одну работу и перейти на другую, пока же ничего не происходило, неспешно копались у себя на участке или бездельничали в чайхане. Если у К. появились какие-то срочные дела, то, конечно, он не мог уехать, оставив меня в своем доме. Однако я больше склонялся к версии «заговора» и чувствовал, как и Герасим Павлов за сто лет до меня, что попал в какую-то ловушку. Точнее, версий было две.

Первая — ошобинские начальники наблюдали за мной (со многими из них я успел пообщаться) и, видимо, не очень понимали, что я делаю в кишлаке. Если встать на их позицию и учесть их жизненный опыт, то мои действия — интерес к делам колхоза и родственным связям, переписывание книг в сельсовете, собирание всевозможных слухов и так далее — должны были выглядеть в их глазах крайне подозрительно. В очередной раз напомню, что в 1995 году в Таджикистане шла настоящая гражданская война с исламской оппозицией и одновременно сложная внутренняя борьба внутри элиты — борьба на всех уровнях. Ошобинская верхушка, имея определенные успехи в этой борьбе, тем не менее чувствовала себя неуверенно — у этих людей было много внешних и внутренних оппонентов, или врагов, как они считали. Тем более у них была стигма узбекского меньшинства в национальном таджикском государстве. Возможно, их подозрения и страхи по поводу того, кто я и чем занимаюсь, дошли и до К., который имел родственные связи с председателем колхоза, и, предложив мне уйти из его дома, он решил таким образом обезопасить себя — не брать на себя ответственность за мои поступки. Вторая версия, менее реальная, но тоже правдоподобная, — К. регулярно посещал мечеть, где в то время тон задавали радикально настроенные лица²⁵, и влияния на него каких-то разговоров о том, что с русским тесно общаться не стоит, я также не исключаю.

Итак, мне пришлось опять поселиться в комнате при больнице. Исследование потихоньку продвигалось, я старался больше общаться с жителями кишлака и не оставлял надежды найти тех, кто согласился бы принять под свой кров чужестранца. Однако любые мои намеки на то, что я хочу переселиться в жилой дом, оканчивались неудачей. Первая половина 1990-х годов была тяжелым временем для ошобинцев: зарплаты практически перестали выплачивать, доходы от приусадебных участков резко снизились. Жители кишлака испытывали огромные экономические трудности и постоянный стресс. Все были дезориентированы в оценке того, что будет дальше, как лучше поступать, с кем можно иметь отношения, а от кого надо бы держаться в стороне. Никто не спешил давать каких-то обещаний и что-либо предпринимать, не зная,

²⁵ См. Очерк 8.

чем это может закончиться. Не помогала в том числе и моя готовность оплачивать проживание. Люди не только опасались, что их расходы на содержание гостя превзойдут компенсацию с его стороны, но и не хотели привлекать к себе внимания пересудами в кишлаке.

Как показал неудачный опыт с К., из числа тех, кто мог бы принять меня в своей семье, выпала целая категория — местная интеллектуальная элита в лице учителей, врачей, работников сельсовета. Знание русского языка и навыки общения с представителями других культур, полученные во время учебы в городе, а также неплохое финансовое положение в советское время делали именно их наиболее подходящими для роли проводников в мир локального сообщества. И действительно, во время своей полевой работы в Ошобе я постоянно пользовался такого рода помощью. Тем не менее никто из знакомых учителей или врачей, с которыми я почти сдружился и проводил много времени, не решился пригласить меня пожить у него. Более того, — и это было еще удивительнее — мало кто приглашал меня к себе домой с обязательным для такого события угощением (от которого, признаюсь, я бы не отказался, постоянно пребывая в полуголодном состоянии).

Сейчас я объясняю этот факт не только подозрениями в мой адрес и экономическим расчетом — нежеланием тратить деньги на прием гостя, но и определенным кризисом социальных статусов. Интеллектуальная элита, которая прежде занимала высокое положение в местной иерархии, больше всех пострадала от перемен, последовавших за падением советского строя. По ней экономические трудности и распад СССР, крушение идеологии и политического режима ударили в первую очередь и сильнее всего. Все материальные и символические ресурсы, на которые эти люди опирались, в одно мгновение девальвировались. Учителя и врачи были просто не в состоянии сохранять те высокие стандарты престижности, в том числе гостеприимства, которых требовал их прежний статус. В этой ситуации пригласить меня к себе домой и продемонстрировать свое нынешнее плачевное положение казалось им гораздо большей проблемой, чем не приглашать вовсе. Ровно по этой же причине прекратилось проведение махалля-туев²⁶.

²⁶ См. Очерк 7.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сказанное объясняет, что случилось дальше. Спустя примерно полтора месяца моего пребывания в кишлаке и поисков подходящего жилья поселиться у него в доме мне предложил Х. — один из самых бедных на тот момент жителей Ошобы, который жил около больницы и с которым поэтому я часто сталкивался. На первый взгляд удивительно, что во время кризиса семья Х., видимо, испытала наименьший шок, однако этому есть объяснение. Конечно, как и другие ошобинцы, эта семья многое потеряла и едва сводила концы с концами, но в то же время их социальный статус нисколько не изменился: они были внизу социальной иерархии — внизу нее и остались. Х. не трогали слухи и местные политические интриги, не особенно заботила проблема сохранения социального престижа, а вознаграждение, которое я предлагал, было вполне ощутимой добавкой к скудному бюджету его хозяйства.

Я недолго думал над предложением Х. — моя поездка приближалась к своей середине, а мне необходимо было погрузиться в быт местной семьи и посмотреть на ошобинское сообщество изнутри, пусть и глазами самых бедных его представителей. И в дальнейшем в своем переселении к Х. я не разочаровался. Благодаря его соседским и родственным связям я ближе познакомился с кругом людей, которые при иных обстоятельствах, скорее всего, выпали бы из моего поля зрения, увидел Ошобу из той точки, какую мне было бы трудно занять, общаясь исключительно с местной интеллигенцией.

В поле

Наблюдение или участие?

Попав внутрь местного сообщества, я сразу, поначалу даже не осознавая этого, оказался на сложных пересечениях различных интересов и влияний. С первой минуты появления в Ошобе я уже находился под воздействием всех этих течений — меня самого изучали, разглядывали, во мне видели того, кем я не мог себя и вообразить. Я вступил в сложные отношения с ошобинским обществом, и эти отношения не были мне подвластны.

Еще одно происшествие стало для меня и предостережением, и испытанием.

В тот июньский день я был в гостях у С., моего ровесника. Встретились мы накануне на одной из свадебных вечеринок²⁷, разговорились. На самой свадьбе он вел себя развязно — шумел, матерился. Позвал меня к себе домой в гости, я отказывался, но потом поддался на уговоры — в гости, как я уже говорил, меня звали нечасто, и надо было пользоваться любым приглашением, чтобы посмотреть, как живут ошобинские семьи, и иметь шанс пообщаться подольше и в более непринужденной обстановке. Придя к себе домой, С. вдруг присмирел, перестал демонстрировать крутость и развязность. Жена подала ужин, мы с хозяином разговорились. С. занимался частной торговлей — вместе с друзьями-таджиками закупал и отвозил козий пух в Улан-Удэ; пока работы не было, он без дела сидел в Ошобе, выпивал каждый день, искал, чем заняться и с кем поболтать. Разговор продолжался до поздней ночи, и я остался у С. ночевать.

Рано утром мы вместе вышли на улицу, и С. опять повел себя активно и шумно, привлекая к себе внимание окружающих. Он затащил меня в чайхану, здесь же оказались его знакомые (в Ошобе все знакомые) и спиртное. Я посидел в этой компании полчаса, выпил свою долю — две пиалки дрянной водки — и отправился домой спать. А к вечеру узнал новость, о которой записал в своем дневнике:

Значит, история с убийством такая. Утром еще один мужик (Т.), ему около 50 лет, решил купить мясо. Мясник, ему было около 60 лет, отказался продавать за таджикские рубли и потребовал российских. Первый мужик, видимо очень скандального характера (он поссорился как-то с отцом, украл у него деньги и сидел за это в тюрьме, от него ушла жена), пошел в сельсовет и сказал председателю, что вот, мол, так и так, если не продаст мясо, убью. Аксакал пообещал разобраться. А этот Т. где-то потом успел выпить (якобы его спойл один из мужичков, с которыми я утром сидел в чайхане — и это мне теперь многие напоминают, что,

²⁷ См. Очерк 9.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

конечно, не очень хорошо), вызвал мясника на улицу и ударил его ножом в шею и живот. Характерная деталь: когда медики приехали к убитому, рядом на улице совершенно никого не было (а это довольно людное место — Бозор-баши), и только когда стали его забирать, появились люди, а к вечеру там была уже целая толпа мужчин. Теперь здесь все только и говорят об этом убийстве да о таджикских деньгах. Кстати, у мясника, хотя и была жена, детей не было: жили убийца и убитый недалеко друг от друга.

Причина конфликта была связана с введением в начале мая 1995 года в Таджикистане собственной местной денежной единицы — рубль (в местном правописании без мягкого знака)²⁸. Новые деньги по номиналу, цвету и рисунку были похожи на старые советские купюры, но меньше размером. По объявленному официальному курсу один рубль приравнялся к ста российским рублям. В середине мая этими новыми деньгами стали выдавать пенсии и часть (не более 50%) зарплаты, приблизительно 250—500 таджикских рублей на человека. Разумеется, такой суммой — примерно от 5 до 10 долларов США²⁹ — обеспечить домохозяйству весь наличный оборот было невозможно, а значит, все продолжали пользоваться российскими деньгами, что формально считалось незаконным. К этому надо добавить, что российский рубль сохранял свое значение в качестве основного средства платежа и потому, что пользовался спросом при торговле в Узбекистане и в других соседних странах (доллар был недоступен местному населению), тогда как таджикский рубль там мало кому был нужен.

На черном рынке рубль, не успев войти в обращение, тут же рухнул в два раза — за один рубль давали только пятьдесят российских рублей. Это стало причиной множества конфликтных ситуаций. Частные продавцы товаров и услуг не хотели терять половину своей выручки и поэтому, естественно, требовали платы российскими, а не таджикскими рублями.

²⁸ Позднее была осуществлена новая денежная реформа и введены в оборот новые купюры — сомони.

²⁹ Один доллар США в мае 1995 года стоил примерно 5000—5100 российских рублей, к августу его курс снизился до 4400—4450 рублей.

Покупатели товаров и получатели услуг вполне, как они полагали, справедливо, по закону требовали принимать таджикские рубли по курсу, установленному государством. Такое противоречие между официальным курсом, утвержденным по советской привычке, и теневым, сложившимся стихийно, столкнуло интересы различных людей. В результате деньги, будучи, согласно политэкономическим законам, средством безличных рыночных отношений, оказались в плену локальных личных связей и представлений о справедливости.

Т., судя по рассказам, был человеком неуравновешенным, но тем не менее он действовал по логичной для советского времени схеме: обратился к представителю власти, который в этой ситуации ничего не мог и не хотел делать, потом, поняв, что чиновники самоустранились, выпил спиртного и уже после того, получив все возможные моральные и физические допинги, набросился с ножом на обидчика. Я также предполагаю, что между соседями бывали и другие ссоры, если они не смогли решить вопрос о цене мяса полюбовно, а данный конфликт был лишь кульминацией прежних отношений.

Так или иначе, среди действующих лиц в цепи событий, которые привели к преступлению, оказался и я. Убийца выпивал в компании, которая образовалась и при моем участии, что не осталось незамеченным — при обсуждении этой истории все упоминали данный факт. Через неделю-другую о происшествии уже не вспоминали, и, очевидно, оно никак не отразилось на моем общении с ошобинцами, но все-таки несколько часов и даже дней я находился в некотором смятении и напряжении, не зная, каких последствий мне теперь ждать.

Таким образом, вопреки собственному желанию я оказывался замешанным во внутриошобинских процессах, о которых имел смутное представление и результатов которых не мог ни прогнозировать, ни предупреждать. Попав в поле, я влиял на своих информаторов и сам же попадал под их влияние. Меня использовали — иногда втемную, выставляя как щит или таран, мной манипулировали, вокруг меня разворачивались скрытые сражения и интриги. Не подозревая этого, я становился заложником изучаемых мной людей и обстоятельств.

Наблюдение за наблюдающим

Расскажу об одном маленьком приключении, чтобы завершить разговор о своем вхождении в поле и тех препятствиях или условиях, которые возникали на этом пути.

Это тоже было в июне; вот что я записал в дневнике:

Приехали на машине два мужика. Один ко мне подсел: «Вы откуда? Чем занимаетесь? Как живете?» Вроде бы обычный интерес. И вдруг: «Покажите-ка свой паспорт». А сам кто такой — не говорит. Нетрудно, впрочем, было догадаться — из местного КГБ. Я, конечно, паспорт дал, но сначала объяснил, что знаком с Фаррухом Шариповым [напомню, он занимал большую должность в милиции]. Это несколько охладило пыл. Потом было самое интересное. Мужик представился: «Я Мамадов, начальник районного КГБ. Если у Вас будут какие-то проблемы националистического характера, обращайтесь вот к нему», — и показывает на одного из врачей больницы (мы уже сидели у него в кабинете — я сначала не понял, зачем окончание разговора ведется при этом враче — он, кстати, молчаливый и я о нем мало знаю). Может быть, меня приняли за агента Ташкента? Во всяком случае, волей-неволей местный начальник КГБ признался, что его беспокоят таджикско-узбекские взаимоотношения в районе. Любопытно, что он мне открыто показал своего внештатного сотрудника в Ошобе. Интересно только, этот начальник случайно заехал в ошобинскую больницу (вроде бы искал доктора) или сделал вид, что случайно, а на самом деле проверял меня?

Сейчас уже надо, наверное, объяснять молодому поколению, что Россия и Средняя Азия были когда-то одним государством. Начав в 1988 году этнографические исследования в этом регионе, я ездил не в другую страну, а в свою — с одной и той же властью, с одной и той же идеологией, с теми же деньгами и с тем же социальным порядком. При этом существовали свои формальные и неформальные правила, согласно которым, например, приезжего из Москвы, из Академии наук, даже если это был всего лишь 25-летний начинающий ученый, принимали как важного гостя: на разных мероприятиях сажали на одно из самых почетных

мест — вместе со стариками, местное начальство считало своим долгом пообщаться и оказать внимание. Среди населения ходили разговоры, что приезжие, которые выдают себя за этнографов и интересуются подробностями местной жизни, на самом деле кагэбэшники. Помню анекдотический случай, когда один мой узбекский знакомый (это было в 1990 году) спустя весьма продолжительное время, которое я жил в его семье, убежденно заявлял, что я на самом деле «из КГБ» и никакие мои опровержения не убедят его в обратном. Так или иначе, хотя аспирант или младший научный сотрудник из Москвы занимал, как и Герасим Павлов, низкую ступень в формальной социально-административной иерархии — даже более низкую, чем многие местные жители, неформально он оказывался, подобно леснику Павлову, в роли «старшего брата», носителя символических властных полномочий и получал целый ряд привилегий. Этот факт свидетельствовал о неинституционализированных диспропорциях в статусах, которые сохранялись в советское время. Впрочем, пожалуй, я был бы в похожем положении, если бы проводил исследования и в российской глубинке.

В 1995 году я попал в совершенно новую, непривычную для себя ситуацию³⁰. Таджикистан стал независимым государством, появились границы, на которых проверяли паспорта и вещи, начали выпускать свои деньги. Здешние государственные институты больше не подчинялись Москве (хотя советский центр все еще имел огромное влияние на республику, поскольку на ее территории по-прежнему находились российские войска и значительная часть гуманитарной помощи шла из России). Старые привычки еще действовали и отношения выстраивались по той же — похожей на колониальную — схеме, но все чаще мне приходилось оглядываться по сторонам и ловить себя на мысли, что я нахожусь в другой стране. Теперь я был не представителем того места, где сосредоточена верховная власть и принимаются решения и которое можно было бы назвать метрополией или центром. Теперь я был чу-

³⁰ Американский антрополог Расселл Занка, который проводил исследование в начале 1990-х годов, описывает свой опыт пребывания в постсоветском Узбекистане: *Zanka R. Life in a Muslim Uzbek Village: Cotton Farming after Communism*. Wadsworth: Cengage Learning, 2011. В этой книге можно найти также множество зарисовок повседневной жизни, которые были общими для всей Средней Азии и в какой-то части — для всего бывшего СССР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

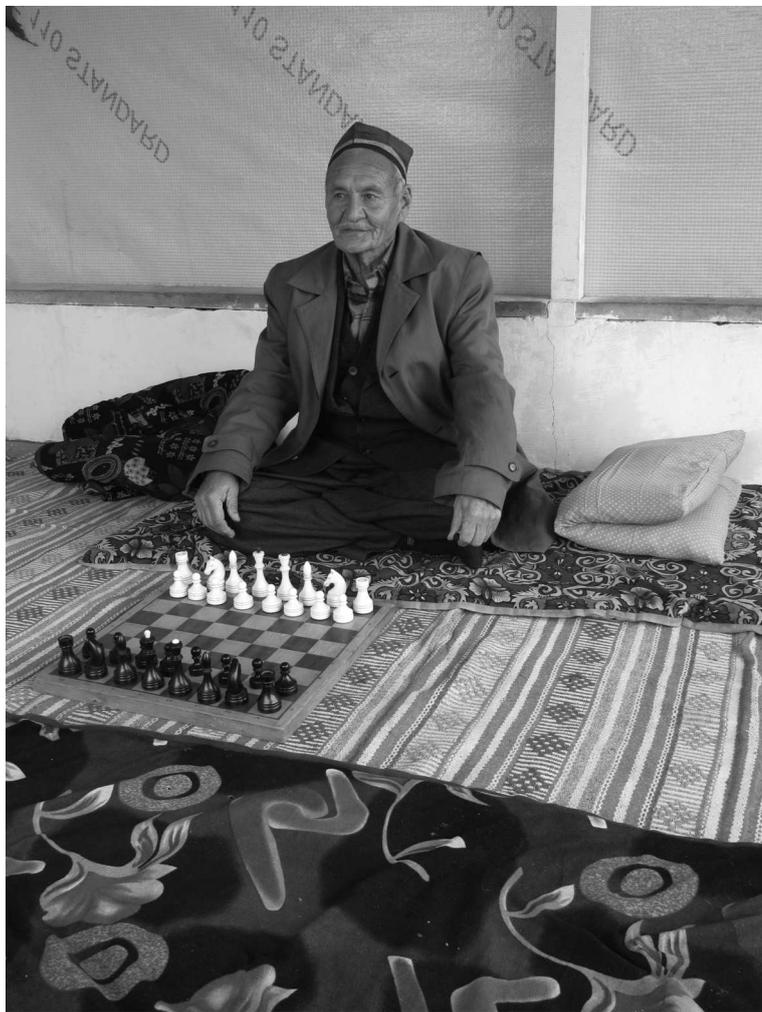
жаком, иностранцем, представителем государства, которое, как могли предположить местные чиновники, преследует собственные интересы, не совпадающие отныне с интересами независимого Таджикистана. При этом для локальной власти был еще важен вопрос, какое именно государство я представляю и какие задачи здесь выполняю.

Оптика

Войдя или входя (этот процесс вряд ли можно считать в какой-то момент законченным) в поле, я уже оказался в определенных отношениях с разными людьми и группами, какие-то из них были мне ближе, какие-то — дальше, с одними я мог найти контакт, с другими — нет. Вся эта конфигурация связей уже определенным образом направляла, помимо моей воли, исследовательские интересы, создавала определенную оптику видимого и невидимого, существенного и второстепенного.

Заметной частью моего круга общения в Ошобе, как я уже говорил, были учителя и врачи. Это объясняется, в частности, тем, что жил я при больнице и рядом с больницей, там меня знали, ко мне привыкли, там люди считали себя хозяевами, которые должны заботиться обо мне как о госте. Около больницы было своеобразное место сбора, где врачи и учителя, свободные от работы, могли посидеть, перекусить, сыграть в шахматы или в карты. И я часто проводил свой досуг с ними, с азартом играл в шахматы и много общался, используя такую возможность для установления контактов. Шахматные баталии были удачным поводом для начала общения, так как никто не воспринимал наблюдение за игрой или участие в ней как вторжение чужака в их личное пространство — по умолчанию в игре могли участвовать все желающие (Илл. 63).

Конечно, учителя и врачи, а в кишлаке их было, напомним, несколько десятков человек, — это люди, с которыми я мог почти свободно разговаривать по-русски. К тому времени я немного знал узбекский язык, мог вести какую-то простую беседу, задавать вопросы и понимать сказанное в ответ, мог следить за разговорами окружающих и читать не слишком сложные тексты; к концу моего пребывания в Ошобе эти умения окрепли. Некоторое знание узбекского языка позволяло мне также демонстри-



Илл. 63. Шахматные баталии, 2010 г.

ровать свое желание сблизиться с людьми, преодолеть барьер недоверия. Передавая меня по цепочке знакомым и родственникам, мой очередной визави обязательно добавлял: «Он понимает, знает по-узбекски», — что сразу настраивало разговор на дружелюбный лад. И все-таки для более откровенного и более спонтанного общения, необходимого для вживания в местное общество, мне, разумеется, комфортнее было говорить по-русски. И это было вполне реально. Русский язык в советское время был обязательным предметом в школах, телевизионные программы шли на русском языке, русские или русскоязычные люди время от времени приезжали в кишлак, поэтому даже те жители Ошобы, которые (к их числу относились в основном женщины) редко выезжали за пределы кишлака, в принципе кое-что понимали по-русски и могли сказать пару слов. Большинство же мужчин отслужили два, а кто и три года в армии — как правило, где-нибудь в России, где они смогли свой школьный русский превратить во вполне сносный язык общения. Ну и, наконец, значительное число местных мужчин время от времени бывали в тех или иных городах, ездили торговать в Россию и имели множество других возможностей практиковаться в русском языке. Поэтому я почти не испытывал языковых трудностей в своем исследовании — в конце концов, я использовал оба языка, подстраивая свои возможности к возможностям того человека, с которым доводилось говорить.

Преимущественное общение с учителями и врачами объяснялось еще и тем, что нас сближали близкий образовательный ценз, набор «европейских» манер поведения, привычка к интеллектуальным разговорам, рациональное видение окружающего мира и привычка представлять информацию в более систематизированном виде — все эти навыки приобретались в городской среде, через которую мы прошли. Мне легче и удобнее было задавать вопросы людям, которые уже научились смотреть на ошобинское сообщество со стороны. Многие из этого образованного класса, как я уже рассказывал в книге³¹, входили в число родственников председателя колхоза и остальных чиновников, поэтому можно сказать, что я общался с теми, кто олицетворяет или обслуживает власть. Правда, с самим председателем поговорить хотя

³¹ См. Очерк 6.

и удалось, однако довольно формально и недолго, с некоторыми другими ключевыми фигурами и вовсе не было встреч — их собственный взгляд на себя и ошобинское сообщество остался для меня если не полной загадкой, то более или менее вероятным предположением.

Мне, конечно, было гораздо труднее услышать иной язык описания Ошобы, альтернативный языку образованного класса. Из круга моего общения совершенно выпала и другая часть местной элиты, которая создавала свой экономический капитал в советское время в теневых сферах — торговле и скотоводстве. Эти люди держались по привычке замкнуто, стараясь не афишировать свою деятельность и не вступая в контакты с теми, кого они могли рассматривать как потенциальную угрозу. В таких случаях я довольствовался лишь информацией, полученной со стороны.

Отчасти закрытой для меня оказалась и группа действующих исламских лидеров Ошобы. Многие из них никак не шли со мной на контакт, и, хотя мы время от времени пересекались на каких-то мероприятиях, общения не получалось. Когда же я решился постучаться в дом к одному из мулл и на правах гостя буквально вынудил его поговорить со мной, из этого ничего путного не вышло. Мулла в нарушение правил гостеприимства, которых в кишлаке обычно строго придерживаются, не пустил меня в дом. Это был неприятный момент, но поучительный. Я объясняю такое поведение этого человека даже не столько нарочитой отстраненностью от русского и немусульманина, сколько советской привычкой скрывать свою религиозность, а также тем, что в то время в Таджикистане шла гражданская война и подозрения в исламизме могли стать источником больших неприятностей. Мулла не очень представлял, кто я, зачем приехал в кишлак и чего от него хочу, поэтому предпочел нарушить нормы приличия, но не рисковать своей безопасностью. Я все же сумел провести несколько бесед с отдельными религиозными деятелями, с членами их семей, что позволило составить представление о жизни и деятельности этой группы ошобинцев. Некоторый недостаток прямого общения с ними я постарался восполнить подробным расспросом обычных жителей Ошобы об их собственных религиозных практиках и представлениях, об их отношении к разным исламским лидерам и к событиям, которые происходили в этой среде на рубеже 1980—1990-х годов.

Очень трудно было проникнуть в женский мир Ошобы. Женщин можно было, конечно, встретить на улице, в школе и больнице или на празднике, но в этом пространстве существовали строгие правила, которые исключали возможность спокойного продолжительного разговора. Бывая в гостях в той или иной семье, я всегда попадал в рамки строгого этикета, согласно которому ее разнополюе члены располагались в отдельных помещениях (любой двор имел внешнюю и внутреннюю части — *таиқари* и *ичқари*), что исключало участие женщин в общем разговоре. Только в семье Х., живя там постоянно, я мог более свободно наблюдать за поведением ошобинских женщин и даже общаться с ними в непринужденной домашней обстановке. У меня были беседы и с другими, образованными женщинами, но в целом их мир остался для меня более закрытым, хотя мой предыдущий этнографический опыт — в других кишлаках, где мне доводилось подолгу жить в семьях, — позволяет составить впечатление о роли женщин в местном обществе.

В советской этнографии, которая была ориентирована на реконструкцию прошлого, главными информаторами считались пожилые люди. Помню, во время этнографической практики мы, студенты, первым делом отправлялись в сельсовет, чтобы составить список жителей наиболее преклонного возраста, и затем отправлялись по их адресам — чаще всего такие встречи заканчивались разочарованием, так как подобные информаторы на деле мало что могли сказать вразумительного и не были готовы к долгой, изнурительной беседе. В Ошобе, история которой была одним из приоритетов моего исследования, пожилые люди, способные что-то вспомнить и рассказать, были для меня ценным подарком. Но, разумеется, я не ограничивал свое внимание стариками и людьми среднего возраста. Среди моих знакомых были и мои сверстники — молодые ошобинцы двадцати — сорока лет, которые сами проявляли ко мне интерес и были инициаторами знакомства. Со многими из них у меня сложились почти приятельские отношения. Я мог, таким образом, узнать мнение молодежи о тех или иных событиях, понять степень их компетенции, привязанности к кишлаку, готовности принимать или нарушать какие-то общепринятые нормы. В семье Х. я мог наблюдать и за детьми, их отношениями между собой и с родителями.

Кроме социальных, возрастных и гендерных барьеров, которые оставались важными факторами, затрудняющими исследование, существовали и другие сложности в общении. Значительное число местных жителей постоянно находились на работе, причем выезжали вниз — на хлопковые поля, и оставались там целыми днями; часть местных жителей на все лето выезжала за пределы кишлака — куда-нибудь на выселки по ущелью, в небольшие горные местечки около родников; были еще и чабаны, уходившие далеко в горы пасти скот. Общественный транспорт в 1995 году работал плохо, бензин был дорогим, и жители практически не пользовались своими легковыми машинами. Выехать за пределы Ошобы было для меня сложным предприятием, поэтому не получилось в достаточной мере, как хотелось бы, поговорить с жителями Мархамата, Опфона, а также, например, Адрасмана, где жило много ошобинцев. Разумеется, я сталкивался с этими людьми в Ошобе и несколько раз пешком путешествовал по ущелью до Кызыл-олма, где также успевал немного пообщаться с местным населением, переброситься несколькими словами, но завязать длительные, постоянные и доверительные отношения при таком режиме встреч не удавалось.

Все вышесказанное означает, что я не смог в полной мере услышать голос определенной части ошобинского общества, голос людей, которые думают немного иначе, иначе дают оценки истории и нынешней ситуации, иначе выстраивают свои жизненные стратегии и выбирают тактику поведения. Впрочем, нельзя сказать, что диапазон голосов, мной услышанных, был узок и ограничивался исключительно образованными интеллектуалами. Парадокс в том, что история с К., который по какой-то причине неожиданно выставил меня из своего дома, привела меня в итоге в дом Х., который, как я уже говорил, относился как раз к очень невысокой социальной группе, далекой от начальства, учителей или религиозных деятелей. Я постарался сдружиться с этой семьей, расспрашивал ее членов о жизни в кишлаке, о людях, которые живут вокруг, я каждый день наблюдал за их взаимоотношениями друг с другом, с родственниками и соседями, работал вместе с ними на приусадебном участке, ходил на туи, вникал, где они позволяли, в их проблемы. Я заглянул в уголки, откуда жизнь кишлака выглядела по-особому — здесь многие нормы и правила соблюдались не так строго, но не по причине какой-то

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

особой лояльности к былой советской идеологии, а скорее из-за простоты и непосредственности, характеризовавших быт этой семьи. Эти люди, в отличие от тех, кто вроде бы был мне ближе по статусу и привычкам, вели себя намного более открыто, что давало возможность наблюдать такие стороны повседневной жизни, которые представителями более образованного слоя прятались и цензурировались в присутствии чужака. Я часто слышал от Х. и его близких критические и даже иронические комментарии к событиям и фактам, которые другими воспринимались всерьез, что позволяло мне оценивать увиденное и услышанное с разных социальных позиций. Такой контраст был очень полезен и продуктивен для исследования.

Карта

Лесник Павлов, убегая от реальных или мнимых злоумышленников, останавливал всех, кто попадался ему по дороге, и записывал их имена, ожидая, что в дальнейшем они подтвердят его слова. Это было похоже на то, как складывалось мое путешествие по кишлаку и знакомство с его жителями.

В 1995 году, бродя в одиночку или кого-нибудь сопровождая, я чаще всего наугад передвигался по селению и по незримому лабиринту социальных сетей, сталкивался с разными людьми и наблюдал за разными ситуациями, что позволяло видеть ошибинскую жизнь с разных углов зрения. Я рисовал свою собственную карту, с помощью которой ориентировался в существующих в этом сообществе социальных связях, обходя закрытые для меня места и задерживаясь там, куда меня впускали. Эта карта вовсе не совпадала с теми картами, которые использовали сами члены сообщества, передвигаясь по социальному пространству кишлака. Я не обладал и не мог обладать всеми теми знаниями и опытом, какими обладает любой местный житель, и тем более мне была недоступна вся совокупность этих знаний и опытов — то идеальное состояние, которого желает достигнуть этнограф и которого он, разумеется, никогда не достигает. Сколько бы я ни прилагал усилий, встречаясь с людьми и собирая новые интервью, моя собственная карта или картина — реконструкция

на основе увиденного и услышанного — состояла из небольших фрагментов тех карт или картин, что находились в повседневном пользовании ошобинцев.

Однако наивно было бы думать, будто стоило лишь найти какую-то одну «истинную» карту, известную местным жителям, и перерисовать ее, как сразу бы пришло понимание устройства данного сообщества. Взгляд любого из ошобинцев не являлся нейтральным, а тоже отражал определенную структурную позицию, которую занимал этот человек, его собственную конфигурацию связей, интересы, жизненный опыт, линию поведения по отношению к другим жителям кишлака. Все эти индивидуальные картины сложно назвать искажениями некоей реальности, потому что одной такой реальности и не было — существовало лишь множество ее разных интерпретаций.

Для создания своей карты мне нужен был компас, то есть вопросник, который вводил бы меня в пространство интерпретаций. Мой стандартный вопросник был настроен прежде всего на тему родственных связей собеседника — кто его братья, кто отец и братья отца, кто дед и братья деда, чем они занимались и занимаются (в какой-то момент я понял, что сам — а не мои информаторы — игнорирую женскую линию родословной, после чего стал расспрашивать также о матерях, бабушках, сестрах и дочерях). Такой опрос позволял формализовать и структурировать разговор, придавать ему логику и последовательность, ведь очень сложно было самому сохранять внимание и удерживать внимание собеседника, если не имеешь нити для беседы и не знаешь, что спросить в следующий момент³². Кроме того, при выяснении родственных связей я знакомился заочно и с теми людьми, с которыми не общался, создавал своеобразную картотеку на ошобинцев³³, получал хотя бы самое приблизительное

³² Другой темой моих опросов поначалу было описание ритуалов, в первую очередь махалля-туев, что также позволяло как-то структурировать общее представление об истории кишлака и его социальной композиции.

³³ В более ранних своих поездках в другие кишлаки Ферганской долины я в качестве картотеки использовал похозяйственные книги, которые велись в сельсоветах. В Ошобе я тоже обратился к таким книгам, но расхождения между зафиксированной в них информацией и реальностью оказались настолько существенными, что пользоваться ими в качестве картотеки не получилось.

представление об их позиции в сообществе и мог потом использовать эту информацию в новых опросах.

В ходе выяснения родословной неизбежно возникали сюжеты, зацепившись за которые можно было уже по ходу беседы перенаправлять разговор на новые темы. Чей-то дед оказывался аксакалом, чей-то отец — муллою, чьим-то родственником был бригадир или раис, у одного было необычное имя, у другого — прозвище, у третьего не было детей, и он взял на воспитание сына брата, кто-то имел несколько жен, кто-то уехал в Адрасман, кто-то стал учителем. Такого рода упоминания служили, при тактичном дирижировании беседой, вполне естественным поводом для более основательного проникновения в воспоминания и образ мыслей человека.

По мере того как число больших и маленьких (иногда на бегу) интервью и просто задушевных разговоров, предворяющих или завершающих интервью, увеличивалось, стало обнаруживаться, что большинство из них так или иначе между собой пересекаются — ссылками на определенные имена и события, которые, очевидно, были сквозными и в какой-то степени объединяли ошобинцев. Повторялись, к примеру, имена Рахманкула, Ортык-аксакала Умурзакова и история свержения последнего, рассказ о конфликте мулл в начале 1990-х годов и так далее. Я решил именно эти имена и события сделать главными объектами своего исследования, после чего начал сознательно разворачивать разговоры с информаторами в интересующую меня сторону, добиваясь от них любых воспоминаний и просто суждений в связи с этими темами и одновременно сохраняя родословно-биографическую канву беседы.

Мне как исследователю хотелось услышать от местных жителей развернутые рассказы и объяснения, которые можно было бы пересказать и даже процитировать (хотя отсутствие звукозаписывающей техники не позволяло делать полноценной записи интервью). Я искал насыщенности, последовательности и ясности в такого рода нарративах, поэтому своими вопросами всячески провоцировал и подталкивал собеседников к тому, чтобы они создавали собственные интерпретации. Но для самих людей перечисленные критерии не были теми принципами, которыми они дорожили и которых придерживались. Для них скорее были важны половинчатость, двусмысленность и противоречивость, позволявшие

более гибко реагировать на контекст коммуникации, на состав участников разговора, их социальный статус, манипулировать ожидаемыми и неожиданными эффектами. Даже умолчание являлось способом что-то сказать или дать нечто понять, хотя, разумеется, для меня оно означало, что я пропускаю какой-то знак, не прочитываю его и не кладу в свою копилку фактов.

Кроме редких случаев, когда нарративы уже заранее были продуманы и сообщались мне в готовом и не раз проговоренном виде, я, как правило, общался с информантами, которые путались в своих «показани-ях», не могли, начав рассказ, подвести его к завершению и на полпути отклонялись в сторону. Немало было примеров, когда один и тот же человек, с которым я беседовал несколько раз, при каждой нашей встрече добавлял новые детали, а иногда полностью менял всю логику и аргументацию изложения. Нередко в отношении дат или каких-то других фактологических подробностей (кто? сколько? где?) информация от разных людей различалась, поэтому при написании текста я пользовался версией, которая выглядела — наверное, в зависимости от степени сложившегося у меня доверия к тому или иному собеседнику — наиболее правдоподобной.

Чтобы не оказаться в плену тех или иных интерпретаций, я старался не только разнообразить свое общение, но и наблюдать за тем, что происходит вокруг меня, — непосредственное и не слишком заметное для окружающих участие в тех или иных событиях, «подглядывание», «подслушивание» и фиксация всего увиденного и услышанного были одним из способов понять, что информаторы не договаривают и не включают в свои нарративы. Я старательно ходил (и добивался приглашения) на свадьбы и поминки, много раз участвовал в ритуале чтения Корана. Вместе с членами семьи Х. я часами собирал урожай абрикосов и очищал их от косточек, помогал, чем мог, в других делах по дому, следил, что и как готовят, как ухаживают за детьми и стариками, какую одежду надевают и так далее. Мне, к сожалению, не удалось увидеть ни одного махалля-туя в самой Ошобе (пришлось их реконструировать во многом по ретроспективным описаниям), но я напросился в поездку со знакомыми в соседний Янги-кишлак, где местные выходцы из Ошобы решили организовать свой собственный махалля-туй — пиршество

было внеплановым и устраивалось в июле, а не зимой потому, что его организаторы хотели успеть провести праздник, пока был жив глава семьи — буквально доживавший последние дни старик. Тогда я почувствовал все «преlestи» жизни в Аштской степи, где жара достигала 50 градусов и приходилось дышать буквально раскаленным воздухом. Неудачной оказалась моя попытка в августе совершить с компанией медиков восхождение к вершине горы Бойоб-бува³⁴: не выдержав интенсивной нагрузки во время ночного подъема в гору, я с огорчением вынужден был повернуть обратно и на спуске, в абсолютно кромешной тьме, опасно подвернул ногу — эта история для местных жителей не прошла незамеченной, и они напомнили мне о ней в 2010 году, полагая, видимо, что «святой», охраняющий гору, «не пустил» меня к себе.

В любой компании я пытался понять, о чем присутствующие говорят, какие темы обсуждают, каких людей упоминают, что их волнует и радует. Я стремился получить представление о жизни Ошобы не только из рассказов, но и в процессе соучастия в этой жизни. Впрочем, при всем расхождении интерпретаций и практик, в чем всегда полезно убеждаться на собственном опыте, те и другие тем не менее существовали в неразрывном единстве. Увиденное и услышанное требовало получения каких-то объяснений и комментариев у местных жителей, иначе многое из того, что происходило в кишлаке, осталось бы мной как минимум непонятым, а может, и вовсе не увиденным (поскольку делалось непублично или даже в тайне).

Как не навредить?

Сбор материалов по мере погружения в жизнь Ошобы поставил передо мной проблему их дальнейшего использования. Многие данные касались личной жизни, судеб отдельных людей и целых семей. Довольно большой объем информации я почерпнул в неформальных разговорах, когда мои собеседники, привыкнув ко мне, рассказывали какие-то истории и давали свои оценки, уже не задумываясь над тем, что я буду

³⁴ См. Очерк 8.

с этим делать. Некоторые истории были посвящены местным дрязгам и сколкам, и одни персонажи в них приукрашивались, а другие, напротив, демонизировались.

Я, конечно, не предупреждал каждого своего собеседника перед каждым разговором с ним, что все им сказанное может быть использовано мной для своих (научных) целей. Мне важно было вызвать людей на откровенность и добиться от них доверия, сократить социальную и культурную, даже личную дистанцию между нами в надежде на то, что это откроет мне доступ к большему объему разнообразной информации. Да и было бы просто глупо, проживая в селении не один месяц и имея хорошие отношения со многими членами местного сообщества, любые контакты и любые попытки доверительной коммуникации формализовать, словно речь шла о допросе у следователя, — такое поле теряло всякий этнографический смысл.

Вместе с тем я, конечно, ни от кого не скрывал, что занимаюсь в кишлаке изучением его истории, местных обычаев, того, как ошобинское население живет. Я специально не вводил окружающих в заблуждение, старался объяснить свои цели при первой же встрече и не отмалчивался, когда меня спрашивали об этом. Другое дело — как разные ошобинцы воспринимали меня и мои слова, могли ли они, не имея достаточного представления о научной деятельности, четко осознать те потенциальные риски, которые неизбежны, когда отвечаешь на вопросы постороннего человека. Предполагаю, что часто мои информаторы, включив меня в свой повседневный мир, переставали отдавать себе отчет в том, что я здесь делаю и какие цели преследую. Этика приема гостя, интерес к новому человеку и возникавшие личные симпатии заставляли их порой наивно говорить о том, о чем, с моей точки зрения, они вряд ли были бы готовы сказать публично. Подобную ситуацию можно сравнить с обманом, но тогда этнографическая работа в поле по определению — из-за неизбежной разницы в мировосприятии исследователя и исследуемых — несет на себе печать невольного обмана. Надо признаться, что полевое исследование само по себе — ненормальное явление. Человек, который постоянно что-то выпытывает, ходит из дома в дом, без разбора набивается в гости и в приятели, ведет себя неправильно — и с точки зрения своего привычного образа жизни, и с точки зрения изучаемого

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

сообщества. Но для того, чтобы нормализовать эту ситуацию, этнограф вынужден — произвольно или непроизвольно — закрывать глаза на болезненные моральные вопросы и сомнения.

По возвращении из поля я размышлял над вопросом, стоит ли шифровать название селения и имена людей, в нем проживающих, чтобы смягчить тот непредумышленный урон, который моя книга могла бы им нанести. Сложность в том, что, оперируя большим количеством архивных документов, ссылками на публикации и постоянно обращаясь к деталям местной географии и местной истории, скрыть название кишлака было невозможно. А это, в свою очередь, делало в значительной мере бессмысленным шифрование имен. Для читателя, который никогда не был и не будет в Ошобе, нет никакой разницы между реальными и выдуманными именами. Для читателя же, который бывает в кишлаке или живет там, вряд ли останется секретом, о ком на той или иной странице идет речь. Тем не менее в некоторых случаях я решил спрятать фигуры конкретных людей за инициалами — следуя правилу, что не все, даже известные факты, можно называть своими именами³⁵.

Выход из поля

Пора домой?

На протяжении всех пяти месяцев, которые я жил в Ошобе, меня охватывало то лихорадочное стремление собирать все новые и новые факты и расширять список опрошенных, то полное отчаяние, когда становилось очевидным, что всего не узнаешь и всех не опросишь, из-за чего возникало только одно желание — хотя бы немного осмыслить, привести хоть в какой-то порядок то, что уже собрано. Должен сказать, что такое постоянное напряжение, невозможность до конца расслабиться сильно утомляли и психологически истощали меня. К этому можно добавить

³⁵ Впрочем, внимательный читатель, которому хватит любопытства и настойчивости, чтобы вникнуть в детали, легко раскроет многие имена, иногда упоминаемые в книге полностью.

фактически полную оторванность от семьи, друзей и коллег (стационарная телефонная связь с внешним миром в кишлаке не действовала, а мобильных телефонов тогда еще не было). Значительные бытовые неудобства и непростые отношения с местными жителями, накапливавшаяся физическая и моральная усталость заставляли меня с радостью думать о приближающемся отъезде из кишлака. Романтический настрой и чувство долга перед этнографической наукой, с которыми я приехал в поле, через неполных полгода — срок, надо признаться, не такой уж и большой — почти полностью иссякли.

Сейчас я думаю, что среди факторов, выталкивавших меня из поля, был еще один, который можно назвать этнографическим парадоксом. Чем дальше я жил в кишлаке, чем подробнее становилась моя карта, с помощью которой я ориентировался в местном сообществе, чем больше я узнавал о его жителях, чем больше накапливала успехов и неудач в отношениях с ними, тем короче становилась дистанция между мной как исследователем, с одной стороны, и объектом моего исследования, с другой. Цель максимально раствориться в иной культурной и социальной среде — составляющая кредо этнографа! — на деле оборачивалась тем, что я переставал быть исследователем, глаза «замыливались», пропадало чувство новизны того, что я вижу, которое обеспечивало некоторую отстраненность и одновременно делало четкими очертания исследуемых явлений. Наверное, я все лучше узнавал и чувствовал окружающий меня мир, но такое знание становилось скорее практическим, чем аналитическим. Единственным способом избежать превращения из ученого в местного жителя, который проживает, а не анализирует свою жизнь, являлись выход из поля и восстановление необходимой дистанции.

Если вход в ошобинское сообщество был трудным и сопровождался разного рода терзаниями, то выход произошел совершенно безболезненно. Я просто сел со своей сумкой в машину и, сделав ряд пересадок, через несколько часов был в Ходженте. После этого все мои связи с жителями Ошобы прервались. Перед отъездом я попрощался с теми, кого успел увидеть. Х. и пара его знакомых, которых я хорошо знал, организовали для меня прощальный обед в Чинар-бува. Все было трогательно, но и достаточно обыденно — ошобинцы были озабочены своими повседневными проблемами, и мое исчезновение, как и пребывание в кишлаке,

прошло если и замеченным, то без какого-либо пристального внимания к моей персоне.

В 2010 году, спустя пятнадцать лет, я вернулся в Ошобу. Это была неожиданная для меня самого поездка, связанная с новыми исследованиями. Я не планировал ее заранее и даже боялся возвращения — меня пугало, что оно разрушит уже сложившееся и окрепшее за полтора десятилетия мое представление о кишлаке. Вдруг я увижу что-то по-другому, вдруг увлекусь выяснением подробностей, которые не смог узнать в 1995 году, вдруг окажется, что собранная мной информация была неверной? Я боялся, что новая поездка в Ошобу заставит меня переписывать и дописывать книгу, то есть вынудит опять отложить на неопределенное время ее публикацию.

Все эти страхи, видимо, имеют в своей основе недоверие к собственной полевой информации, понимание, «из какого сора» складывается будущее исследование. Читая записи в дневнике (плюс архивные материалы и публикации), разглядывая фотографии, пытаюсь восстановить в памяти эмоции, которые я испытывал в 1995 году, я отчетливо видел все разрывы и пробелы в собранных материалах. Однако за полтора десятилетия выжидания вся эта полевая информация превратилась в самодостаточный текст, разложенный по полочкам, классифицированный, очищенный от излишеств, противоречий и субъективизма, расцвеченный бытовыми зарисовками и украшенный ссылками на научные авторитеты. Пятнадцати лет было достаточно, чтобы заставить себя забыть или оттеснить на задний план все сомнения, неувязки, недоделки, несостыковки. Теперь эту информацию можно было использовать, приписывая ей нужные смыслы и входя с ними в академическое пространство с его специфическими правилами и конкурентной борьбой. Теперь можно было сконструировать свой образ Ошобы и представить его в качестве научного, а значит, правильного и окончательного. Возвращение же в Ошобу, казалось мне, может нарушить уже состоявшееся примирение с тем, что происходило со мной в 1995 году, сделает явными недостатки полевой работы, обнаружит новые пробелы и неточности, вновь породит сомнения³⁶.

³⁶ Могу сослаться на другие случаи повторного посещения поля с анализом как произошедших изменений, так и первоначального опыта: *Abu-Lughod L. Preface to the*

На самом деле все прошло довольно благополучно. Ошобинцы встретили меня очень приветливо. На этот раз быстро удалось найти комнату в частном дворе, легко восстановились многие знакомства — люди обо мне не забыли и сразу шли на контакт. Местные жители уже не были придавлены страхом и тяжелыми заботами — они с удовольствием звали к себе в гости, тратили много времени на то, чтобы сопровождать меня, и всячески мне помогали. Я буквально с утра до вечера проводил время в разговорах, и, пожалуй, интенсивность моего общения была намного выше, чем в предыдущее пребывание в кишлаке.

Совсем другой, намного более открытый и гостеприимный прием я объясняю целым рядом изменений, которые произошли за эти пятнадцать лет. Во-первых, в целом стабилизировалась ситуация и в Таджикистане, и в Ошобе. Это не означает, что жить стало легче или что новое государство успешно развивается. Наоборот, практически все прежние локальные институты (колхоз, больница, школа) деградируют, зарплаты остаются на крайне низком уровне, созданные в советское время базовые инфраструктуры изнашиваются и приходят в негодность. Тем не менее люди адаптировались к такой ситуации, приняли ее как данность и научились планировать свое будущее и зарабатывать на жизнь в условиях экономического упадка. Благодаря в первую очередь трудовой миграции в Россию (в каждой семье один-два человека работают за границей) у жителей Ошобы появились личные средства для того, чтобы как-то наладить и даже улучшить качество своей жизни, сделать ее повседневный ритм более предсказуемым³⁷. Соответственно,

Second Edition // L. Abu-Lughod. *Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society*. Updated Edition with a New Preface. University of California Press, 1999. P. XI—XXVII; *Humphrey C.* Preface to New Edition // C. Humphrey. *Marx Went Away — But Karl Stayed Behind*. Updated Edition of Karl Marx Collective: Economy, Society and Religion in a Siberian Collective Farm. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1998. P. VII—XXII; *Humphrey C.* Update // *Ibid.* P. 444—505. Хочу заметить, что в отличие от этих примеров результаты моего повторного приезда в Ошобу включены в основной текст книги, а не являются дополнением к нему.

³⁷ К слову, члны семьи X. (сам он к тому времени умер), которые в 1995 году числились бедняками и аутсайдерами, одними из первых в кишлаке освоили путь трудовой миграции и к 2010 году заметно поправили свое социальное положение, поднявшись по иерархической лестнице.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

восстановились, пусть и в новой конфигурации, социальные иерархии и заработали различные ритуалы, связанные с демонстрацией благополучия, опять возник интерес к приезжим.

Во-вторых, изменился мой собственный — возрастной и социальный — статус. Если в отношении к молодому человеку, пусть даже из Москвы, оставалась некоторая неопределенность — в каком качестве его воспринимать, какую роль ему приписывать и как себя с ним вести, то по отношению к доктору наук такая неопределенность уже практически исчезала. Значительное число моих прежних пожилых собеседников (Ф., К., Х., М., Ортык Умурзаков, Тоштемир Комилов, Мухтархан-ишан³⁸ и другие) умерли, а возрастная разница с большинством новых собеседников была уже не слишком критической. К этому можно добавить, что я вернулся в Ошобу не как новичок, который ничего не знает о местной жизни, а как человек, который мог ориентироваться в локальных отношениях, знал ключевые события и имена, был способен сразу переходить к важным деталям, минуя предварительные этапы знакомства, которые в 1995 году порой сильно затягивались и были мучительной, но неизбежной частью притирки к полю.

Трансформации в конфигурации власти и памяти, в моем статусе и в практиках коммуникации по-новому определили мое место и мою роль внутри поля и открыли в нем участки, ранее от меня закрытые.

Одним из последствий всех этих изменений стало, в частности, более близкое знакомство с семьей Имамназара Ходжаназарова. Я заранее познакомился с его зятем — Файзуллою Абдуллаевым, бывшим руководителем района, — и очень рассчитывал взять у раиса новое интервью. Но получилось так, что Ходжаназаров умер незадолго до моего приезда в Ошобу. Я смог только довольно тесно пообщаться с его близкими родственниками и присутствовать на поминальных мероприятиях. Настороженность и дистанция, которые я явственно чувствовал в 1995 году, на этот раз не ощущались, и я смог взглянуть на многое в ошобинской жизни глазами людей, которые в 1970—1980-е годы составляли высшую

³⁸ Он трагически погиб во время сея, который прошел по Ошоба-саю 22 июля 2007 года. После этого ошобинцы сложили легенду о том, что «потомок святых» пытался защитить кишлак от еще больших разрушений.

элитную группу в кишлаке. Мне удалось также встретиться с некоторыми ошобинскими муллами, «потомками святых», с шайхом Бойоб-бува, у которого я скопировал интересные документы, посмотреть и сфотографировать мазар ходжей. Такие встречи значительно умножили мои прежние сведения об этой категории ошобинцев. В этот приезд я за десять дней успел побывать в Мархамате, Верхнем и Нижнем Оппоне³⁹, где взял несколько интервью, попутешествовал по окрестностям Ошобы. Новые технические возможности — а теперь у меня были цифровой фотоаппарат и диктофон — заметно пополнили имеющийся в моем распоряжении видеоряд Ошобы (обеспечив меня в том числе материалом для нового — десятого — очерка) и дали возможность записать прямую речь информантов⁴⁰.

Открытие новых оптик — даже в течение очень короткого срока — конечно, привело к уточнению и существенному дополнению моих прежних материалов, но все равно не вызвало радикального пересмотра прежней социальной и ментальной карты Ошобы, которую я нарисовал в 1995 году. Таким образом, можно сделать вывод, что даже самый субъективный, самый односторонний и самый неполный взгляд, которым обладает этнограф, в состоянии схватить наиболее существенные черты изучаемого сообщества и позволяет более или менее плодотворно ориентироваться в сложном и противоречивом переплетении его взаимосвязей.

Что еще осталось неизученным?

Во введении к книге «Культура, власть, место: Изыскания в критической антропологии», изданной в 1997 году, американские антропологи Акил Гупта и Джеймс Фергюсон подвергли критическому анализу ряд

³⁹ Кроме того, весной 2010 года я побывал в Адрасмане.

⁴⁰ Наличие доступной мобильной связи облегчило мне координацию передвижений по кишлаку, обеспечило постоянную связь с Москвой и даже выход в Интернет. К слову, мобильные телефоны сильно повлияли на само ошобинское сообщество, что могло бы стать предметом отдельного исследования.

понятий, составляющих фундамент этнографической методологии⁴¹. Главной жертвой их деконструкции стало понятие культуры как автономной семиотической системы или отдельной единицы (ассоциируемой с народом, племенем, нацией и так далее), на которые делится человечество и которые являются объектами изучения и сравнения между собой. Гупта и Фергюсон предложили увидеть мир более подвижным, менее устойчивым и менее фиксированным, одновременно они предложили анализировать культуру как процесс воображения и совокупность отношений господства-подчинения⁴². В рамках этой критики авторы поставили под сомнение понятие места, к которому привязана культура, или пространственной территориальности в качестве обязательного атрибута культуры.

Логичным продолжением такой деконструкции стала критика Гуптой и Фергюсоном понятий «локальность/месторасположение» (*locality*) и «община» (*community*) — традиционных мест и объектов этнографических полевых исследований. Эти места или объекты никогда не были даны изначально, а создавались дискурсивно и исторически⁴³, то есть возникали в результате усилий как местных жителей, так и государства и других акторов, включая историков, краеведов и этнографов. Понятия локальности и общины, пишут авторы, создавались благодаря их восприятию в качестве природных и аутентичных в сравнении с искусственным и внешним глобальным миром⁴⁴. Локальное обычно связывается с традицией, а глобальное — с модернизацией, поэтому их взаимодействие рассматривается как влияние одного на другое и ответное сопротивление. Гупта и Фергюсон призывают отказаться от этой дихотомии и обратиться, например, к изучению миграций и средств

⁴¹ Gupta A., Ferguson J. Culture, Power, Place: Ethnography at the End of an Era // Culture, Power, Place: Explorations in Critical Anthropology / A. Gupta, J. Ferguson (eds.). Durham, NC: Duke University Press, 1997. P. 1—29. См. схожую критику: Burawoy M. Introduction: Reaching for the Global // Global Ethnography: Forces, Connections, and Imaginations in a Postmodern World / M. Burawoy et al. (eds.). University of California Press, 2000. P. 1—40.

⁴² См.: Gupta A., Ferguson J. Beyond «Culture»: Space, Identity, and the Politics of Difference // Ibid. P. 33—51.

⁴³ Gupta A., Ferguson J. Culture, Power, Place. P. 6.

⁴⁴ Ibid. P. 7.

коммуникации, которые, как и путешествия этнографов, переопределяют заново восприятие общины.

Другая совместная статья тех же авторов — «Дисциплина и практика: “поле” в антропологии как место, метод и местоположение» — посвящена развитию критики этнографического поля как места⁴⁵. Вся этнографическая риторика о входе в поле и трудностях, с этим связанных, и о выходе из него, о страданиях и героизме полевика, об изучении местных языков и длительном проживании в поле, об обряде перехода, который исследователь переживает, о дистанции между полем и домом, где он вспоминает, что ему довелось испытать «там», — все это уже содержит в себе образ поля как отдельного и изолированного другого/чужого мира, экзотичного и даже отсталого, а потому требующего изучения⁴⁶. «Идея иного, несхожего, — пишут Гупта и Фергюсон, — играет ключевую роль в ритуале полевых исследований»⁴⁷.

Вместе с критикой американские антропологи предлагают переосмыслить заново и оживить разные формы полевой работы: «Отказываясь от образа проторенной дороги, ведущей к всестороннему и целостному постижению “другого общества”, этнография все более явно начинает предпочитать гибкую и открытую стратегию, усложняющую наше понимание различных стран, народов и их судеб. Эта стратегия обеспечивается более пристальным вниманием к различным формам знания, получаемого из разнообразных социальных и политических источников»⁴⁸. Авторы призывают перестать видеть поле только как небольшую деревню, населенную иноязычными жителями с диковинными обычаями, а полевика — как белого мужчину американского или европейского происхождения, принадлежащего к среднему классу. Они напоминают, что современные антропологи играют разные гендерные, социальные и культурные роли и, соответственно, имеют разные представления о том, что и как следует изучать. Они ищут новые вопросы и темы, обращая внимание на разные виды движения (миграция, бе-

⁴⁵ *Gupta A., Ferguson J.* Discipline and Practice: «The Field» as Site, Method, and Location in Anthropology // *Anthropological Locations*. P. 1—46.

⁴⁶ *Ibid.* P. 13.

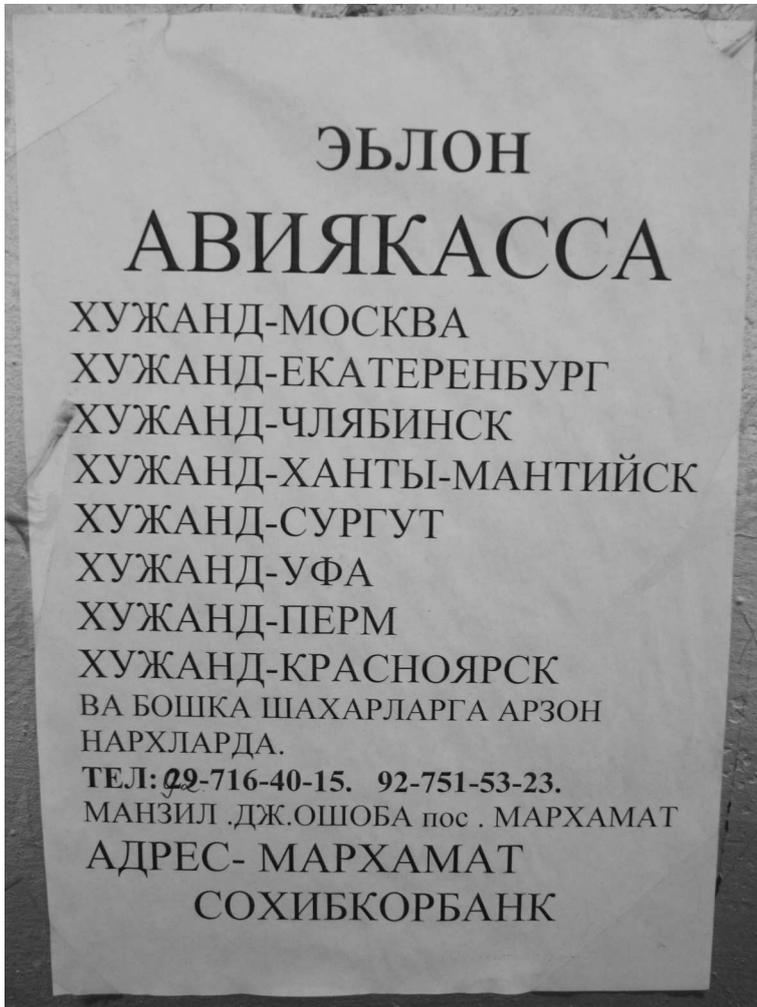
⁴⁷ *Ibid.* P. 16.

⁴⁸ *Ibid.* P. 37.

женцы, внутригородские передвижения), отсутствия укорененности (бездомные, пригороды), обезличенных (медиа, виртуальные пространства) и непостоянных (магазины, офисы, аэропорты) отношений.

Все эти рассуждения американских антропологов созвучны моему опыту и моим выводам, которые я получил во время исследования в Ошобе и в процессе работы с полученными там материалами. Они точно формулируют те ограничения, которые возникли в поле, и те новые вопросы, которые ждут если не разрешения, то изучения и анализа. Должен признать, что в своем исследовании в 1995 году я обратил, видимо, не слишком большое внимание на те же миграции. Я не игнорировал эту тему вовсе и, конечно, наблюдал, как ошобинцы постоянно перемещаются между разными селениями, входящими в сельский совет/джамоат Ошоба, как они мигрировали и мигрируют за пределы джамоата, создавая иногда целые анклавные выходцев из кишлака (в Адрасмане, Оби-Аште или Янги-кишлаке). Я видел, что с миграцией существенно изменяются многие социальные связи, культурные привычки, идентичности. Однако сам я жил довольно изолированно в одном кишлаке и был ограничен в передвижении — в том числе из-за экономического кризиса начала 1990-х годов, о чем уже упоминал. Мое внимание было приковано к месту, если пользоваться словами Гупты и Фергюсона, как к центру социального пространства, что, возможно, создавало иллюзию жесткости локальных границ. Видимо, кризис и идущая в начале 1990-х годов в Таджикистане гражданская война сами усиливали эту жесткость локальности, временно снижали влияние внешних воздействий и отношений, вынуждая и меня ограничивать мой обзор.

Такой перекося для меня стал особенно очевиден в 2010 году, когда я узнал, что сотни ошобинцев, главным образом молодых мужчин (хотя и не только их), мигрировали в Россию и в другие страны для заработка (Илл. 64). Многие из них оказались в Москве, сократив или даже уничтожив дистанцию между полем и моим собственным домом. Хотя в 1995 году столь массовой миграции еще не было, это не означает, что она была совершенно новым явлением. Чем-то похожим на нынешнюю миграцию была, например, военная служба в советское время, когда те же молодые люди на протяжении нескольких десятков лет регулярно перемещались в европейскую часть России или в Сибирь, где жили два-три



Илл. 64. Продажа билетов в Россию, 2010 г.

года, осваивали новые практики и идентичности; некоторые оставались и на более длительные сроки. Если добавить к этому учебу, торговую миграцию, отпуска и так далее, то картина передвижений ошобинцев в недавнем прошлом будет не менее впечатляющей, чем сегодня. К сожалению, я могу лишь обозначить это явление, но не анализировать его более детально.

Другая тема, к которой, наверное, я присмотрелся бы пристальнее, если бы начинал свое исследование сейчас, — материальное, символическое и виртуальное пространства Ошобы. Какие вещи, архитектурные формы, материалы и образы (фотографические или художественные) наполняют мир людей, живущих в кишлаке? Какова история этих предметов и образов, как они циркулируют в местном сообществе? В центре внимания мог бы оказаться вопрос о музеях, посредством которых разные группы Ошобы пытаются осмыслить и представить локальную идентичность (в 2010 году в Ошобе было два музея — в здании сельсовета/джамоата и в одной из школ) (Илл. 65). Или, например, вопрос о топонимике и переименованиях (улиц, школ, новых выселков). Сейчас бы меня увлекла и такая тема: как ошобинцы представляют себя в своих жилых пространствах, в частности в гостиных, какими вещами и изображениями они их населяют, как наделяют вещи смыслами и функциями (характерный пример — в гостиной ставят стулья, которые используют чаще всего не по прямому назначению, а для демонстрации «европейскости/продвинутости»). Исследование Ошобы могло бы затронуть вопросы сосуществования узбекского, таджикского и русского языков — как с их помощью маркируются жилища, публичные места, официальные помещения. Или, может быть, я понаблюдал бы за тем, что представляет собой местная кухня и как в рационе питания отражаются социальные и символические изменения. Читатель, я уверен, может и сам найти множество других объектов, которые было бы интересно изучить.

Еще одна тема, почти полностью выпавшая — не из моего поля зрения, но из моего исследования и текста, — это воздействие печатного слова или скорее даже телевизора и кино на людей⁴⁹. В каждом ошобинском доме в 1995 году был телевизор, и все члены семьи собирались

⁴⁹ См.: *Zanca R. Life in a Muslim Uzbek Village. P. 79—81.*



Илл. 65. Школьный музей, 2010 г.

около него по вечерам, чтобы посмотреть новости узбекского телевидения, индийский фильм или бразильский сериал по российскому каналу, принять виртуальное участие в политических дебатах или нескончаемых мелодраматических перипетиях южноамериканских телесюжетов. В том же году повсеместно распространилась мода на видеомагнитофоны, которые открывали неограниченные возможности для просмотра любых видеожанров — от боевиков и фильмов о мафии до спортивных программ и порнографии. В советскую эпоху документальные хроники и художественные фильмы, которые демонстрировались в клубе и в телевизионных приемниках, давали более бедный видеоряд с сильным пропагандистским содержанием, но в свое время сам факт их появления открыл для ошобинцев другой мир и новые перспективы, новые образцы поведения и выбора одежды, что, конечно, было переворотом в сознании и самовосприятии жителей отдаленного горного селения.

Я писал об учителях и школах, но, разумеется, эта тема должна была быть представлена намного полнее. Школьная дисциплина, разного рода

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

школьные практики и ритуалы, отношения между школьниками разного пола и возраста, а также учителей между собой — все это влияло на ошобинское сообщество не меньше, а даже больше, чем та же больница, которой я посвятил целый очерк.

Если бы я проводил исследование в 2010-м, а не в 1995 году, то мог бы, наверное, написать о волейболе, который стал в Ошобе чрезвычайно популярным, публичным и социально значимым видом спорта. Или о мобильных телефонах, которые к 2010 году сформировали в кишлаке новые практики обмена информацией, установления, поддержания или разрыва связей. Или о приватизации созданной в советское время экономики, о том, какую роль играют неправительственные организации и международные инвестиции в переустройстве социальных иерархий⁵⁰. Вероятно, я обратил бы внимание на выходцев из Ошобы, которые уже сумели устроить свою жизнь не только в Ходженте, Душанбе или Ташкенте, но и в России, Европе, США. Не исключено, что я действительно напишу об этом когда-нибудь — или кто-то другой возьмется за такое исследование, может быть, даже из числа самих ошобинцев.

В 1995 году я изучал то, что видел тогда. Мое видение было ограничено моими навыками как полевика, а также состоянием самого поля — его напряжением в момент кризиса и сопротивлением внешнему взгляду/контролю. Возможно, я шел на поводу у своих интересов и заблуждений, а возможно, мой путь направляли интересы и заблуждения моих собеседников. Парадокс в том, что в силу своей роли этнограф обречен идти в поле, чтобы искать там материал для своих реконструкций, обречен ссылаться на поле как на точку отсчета в своей деятельности — именно полем по-прежнему испытываются и утверждаются в этнографическом сообществе компетенция и авторитет исследователя. Точно так же этнограф обречен на то, чтобы его реконструкции были поставлены под сомнение (им же самим или кем-то другим), чтобы поле оказалось в итоге всего лишь недостижимым идеалом, на практике же — мучительной и неблагодарной работой, а нередко — средством вольных или невольных манипуляций и подтасовок. Вырваться из этого замкнутого круга,

⁵⁰ См., например: Стратегия социально-экономического развития джамоата Ошоба Аштского района. Худжанд: АППР Нау, 2008.

ИЗВНЕ И ИЗНУТРИ

оставаясь в антропологическом дисциплинарном пространстве, нельзя, можно лишь осознать задачи и ограничения и попытаться действовать в имеющихся обстоятельствах, чем, собственно, я и занимался, работая над этой книгой. Я предлагаю в ней свои наблюдения, свой взгляд, свою оценку, понимая, конечно, что историю и этнографию Ошобы можно писать до бесконечности и любое описание будет неполным. Жизнь ошобинцев — да и Средней Азии в целом — всегда была и останется многообразнее и сложнее любых текстов и схем, которые в силах предложить любой, даже самый искушенный и внимательный ученый.